

# СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

---

Том 3. № 1. 2003

S O C I O L O G I C A L  
R E V I E W

---

Московская школа социальных и экономических наук

Центр фундаментальной социологии

---

# Социологическое обозрение

---

Том 3. № 1. 2003

Интернет-версия журнала на сайтах [www.sociologica.net](http://www.sociologica.net)  
[www.sociologica.ru](http://www.sociologica.ru)

Главный редактор – Александр Фридрихович Филиппов  
Ответственный секретарь – Марина Геннадиевна Пугачева  
Редактор сайта – Сергей Петрович Еремин  
Литературный редактор – Каринэ Акоповна Щадилова

Адрес редакции: [mail@sociologica.ru](mailto:mail@sociologica.ru)

Журнал выходит четыре раза в год

Проект осуществляется при финансовой поддержке  
Национального фонда подготовки кадров

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПЕРЕВОДЫ

#### **Гарольд Гарфинкель**

Обыденное знание социальных структур: документальный метод интерпретации  
в бытовом и профессиональном поиске фактов ..... 3

#### **Ян Шапиро**

Моральные основания политики ..... 20

#### **Роберт Парк**

Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения  
сознания и перемещения ..... 35

### РЕФЕРАТЫ

#### **Юлия Маркова**

Пьер Бурдьё. Наука о науке и рефлексивность.  
Курс в Коллеж де Франс в 2000-2001 годах ..... 38

### ОБЗОРЫ

#### **Александр Филиппов**

«Теория систем. Аутопойесис продолжается»  
Niklas Luhmann. Einführung in die Systemtheorie / Dirk Baecker (Hrsg.)  
Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag, 2002. .... 50

### IN MEMORIAM

#### **Роберт Кинг Мертон**

#### **Никита Покровский**

Ранний вечер на Утренних Холмах, год 1990-й (Предельно субъективные заметки  
о Роберте Мертоне) ..... 59

## ПЕРЕВОДЫ

Гарольд Гарфинкель

### **Обыденное знание социальных структур: документальный метод интерпретации в профессиональном и непрофессиональном поиске фактов\***

Говоря на социологическом языке, «общей культурой» называют социально санкционированные основания заключений и действий, на которые люди опираются в своих повседневных делах и предполагают, что другие используют их так же. Социально-санкционированные факты жизни в обществе, которые знает любой нормальный член этого общества включают такие вещи, как ведение семейной жизни, организация рынка, распределение наград, компетенция, ответственность, добрая воля, доход, мотивы членов общества, частота и причины неудач и средства справиться с ними, присутствие добрых и злых намерений за внешним ходом событий. Такие социально санкционированные факты общественной жизни состоят из описаний с точки зрения интересов члена коллектива<sup>1</sup> в управлении его практическими делами. Основываясь в этом употреблении на работе Альфреда Шюца,<sup>2</sup> мы будем называть такое знание социально организованных сред согласованных действий обыденным знанием социальных структур.

Открытие общей культуры сводится к открытию социологами *изнутри* общества факта существования обыденного знания социальных структур. Для социолога предметом теоретического социологического интереса являются знание и процедуры, используемые членами общества для его собирания, проверки, управления им и его передачи.

Данная работа как раз и имеет дело с обыденным знанием социальных структур как предметом теоретического социологического интереса. В ней рассматриваются описания общества, которые его члены, *включая профессиональных социологов*, используют как нечто само собой разумеющееся, как условие своего законного права принимать решения, касающиеся смысла, факта, метода и причинной основы без каких-либо помех — как условие своей «компетентности». Конкретно в статье описывается работа, в ходе которой производится решение по смыслу и факту, как собирается набор фактического знания социальных структур в обыденной ситуации выбора.

#### **Документальный метод интерпретации**

В социологических исследованиях часто встречаются ситуации, когда исследователь — будь то профессиональный социолог или же просто человек, исследующий социальные структуры в целях управления своими повседневными делами, — может присвоить наблюдаемым внешним явлениям статус поведенческого события, лишь добавляя к ним биографические данные и предвидимое будущее. Он делает это, встраивая внешние данные в свое предполагаемое знание общественных структур. Таким образом, часто случается, что для того, чтобы исследователь мог понять, с чем он сталкивается сейчас, он должен дожидаться будущего развития событий, но, дождавшись, он обнаруживает, что эти будущие

---

\* *Garold Garfinkel. Studies in Ethnomethodology. Prentice Hall Inc., New Jersey, 1967. Chapter 3. Common sense knowledge of social structures: the documentary method of interpretation in lay and professional fact finding. Перевод главы 2 см. «Социологическое обозрение». 2002. №1. Т.2*

<sup>1</sup> Термин «членство в коллективе» понимается в строгом соответствии с использованием Толкотом Парсонсом в *The Social System* и в *Theories of Society*, I, Part II, pp. 239-240.

<sup>2</sup> Alfred Schutz, *Collected Papers I; The Problem of Social Reality* (1962); *Collected Papers II: Studies in Social Theory* (1964); *Collected Papers III: Studies in Phenomenological Philosophy* (1966).

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Перевод с английского Турчаниновой Ю.И., Гусинского Э.Н., 2003

события в свою очередь объясняются *их* историей и будущим. Дождавшись того, что произойдет потом, он понимает, чем было увиденное ранее. Или же он принимает прошлое и будущее происходящих событий как само собой разумеющееся. Мотивированные действия, например, имеют именно эти раздражающие качества.

Поэтому часто происходит так, что исследователь должен выбрать среди альтернативных способов интерпретации и исследования какой-то один, чтобы принять в конце концов необходимые решения по вопросам фактов, гипотез, предположений, фантазий и всего остального (несмотря на то, что в точном смысле слова «знать» он не знает и не может знать, что он делает, *до или во время того, как он это делает*). Исследователи-практики, особенно те из них, кто занят этнографическими и лингвистическими исследованиями в условиях, когда они не могут предполагать знания общественных структур, возможно, лучше всех знакомы с такими ситуациями, но это относится и к другим типам профессионального социологического исследования.

Но предположим, каким-то образом корпус сведений об общественных структурах собран. Как-то приняты решения по смыслу, фактам, методу и причинности. Как это происходит в исследовании, во время которого такие решения должны быть приняты?

В рамках своего интереса к социологической проблеме адекватного описания культурных событий, важным случаем которого явилось бы известное веберовское «поведение, наделенное субъективным смыслом и управляемое этим смыслом», Карл Мангейм<sup>3</sup> создал примерное описание одного процесса. Мангейм назвал это «документальным методом интерпретации». Он резко отличается от методов чистого наблюдения и похож на то, что реально делают многие социологи-исследователи, как любители, так и профессионалы.

Согласно Мангейму, документальный метод включает поиск «...идентичного гомологичного паттерна, лежащего в основе огромного разнообразия совершенно различных пониманий смысла»<sup>4</sup>.

Метод состоит в том, что реальное проявление рассматривается как «документальное свидетельство», как «указывающее на», как «замещающее» предполагаемый лежащий в основе паттерн. И не только лежащий в основе паттерн выводится из своих индивидуальных документальных свидетельств, но и индивидуальные документальные свидетельства, в свою очередь, интерпретируются на основе «того, что известно» о паттерне, лежащем в их основе. Одно используется для разработки другого.

Метод применим для повседневных надобностей понимания того, «о чем говорит» этот человек, учитывая, что он говорит не совсем то, что имеет в виду, или для понимания таких обычных случаев и объектов, как почтальоны, дружелюбные жесты и обещания. Это также распознаваемо применимо в решении таких социологически анализируемых событий, как стратегии для управления впечатлениями Гофмана, кризисы личности Эриксона, типы конформизма Рисмена, системы ценностей Парсонса, магические обряды Малиновского, подсчет интеракций по Бейлу, типы девиаций Мертона, латентная структура отношений Лазарсфельда и категории занятости по переписи населения в США.

Как исследователь определяет из ответов на вопросник установки опрашиваемого; как он узнает из беседы с персоналом офиса об их «бюрократически организованной деятельности»; как по изучению преступлений, известных полиции, он оценивает параметры «реальной преступности»? В результате какой работы исследователь устанавливает смысловое соответствие между наблюдаемым событием и намерением действия, так что считает целесообразным рассматривать реальные проявления, которым он был свидетелем, в качестве свидетельств события, которое он хочет изучить?

Для ответа на эти вопросы необходимо выяснить детали работы документального метода. Для этой цели была разработана демонстрация документального метода, которая

<sup>3</sup> Karl Mannheim, "On the Interpretation of Weltanschauung," in *Essays on the Sociology of Knowledge*, pp. 53-63.

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 57.

должна была «выпятить» свойства используемого метода и «поймать на лету» работу этого процесса «производства фактов».

### **Эксперимент**

Были набраны десять студентов, которым сказали, что в отделении психиатрии проводится исследование по изучению альтернативных психотерапии средств «в виде советов людям по их личным проблемам» (sic). Каждого испытуемого индивидуально посещал экспериментатор, который представлялся как стажер-консультант. Испытуемого сначала просили обсудить происхождение некоторых серьезных проблем, по которым он бы хотел получить совет, а затем задать консультанту ряд вопросов, каждый из которых допускал бы ответы типа «да» или «нет». Испытуемым обещали, что «консультант» будет стараться добросовестно отвечать на вопросы. Экспериментатор-консультант выслушивал вопросы и давал ответы из соседней комнаты через систему внутренней связи. После описания своей проблемы и представления некоторых ее причин испытуемый задавал свой первый вопрос. После стандартной паузы экспериментатор отвечал «да» или «нет». В соответствии с инструкциями испытуемый затем убирал настенный микрофон, соединяющий его с консультантом, чтобы «консультант не слышал Ваших замечаний», и начитывал на магнитофон свои замечания по беседе. После завершения диктовки испытуемый вставлял микрофон обратно и задавал следующий вопрос. После получения ответа он опять записывал свои комментарии. Так каждый задал и получил по крайней мере десять вопросов и ответов. Испытуемым сообщили, что «Большинство людей хотят задать по крайней мере десять вопросов».

Последовательность ответов, поровну распределенных между «да» и «нет», была предрешена посредством таблицы случайных чисел. Всем испытуемым, задававшим одинаковое число вопросов, были выданы те же серии ответов «да» и «нет». После серии вопросов и ответов испытуемых просили подытожить свои впечатления от всего обмена мнениями в целом. Затем было интервью.

Ниже приводятся характерные неотредактированные протоколы.

### **СЛУЧАЙ 1**

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Ну, что ж, вот с какой ситуацией я столкнулся. Я принадлежу к иудейской религии и встречаюсь с нееврейской девушкой вот уже примерно два месяца. Мой отец прямо не против этой ситуации, но в то же время я чувствую, что он не очень доволен. Мама считает, что пока отец прямо не выступает против, мне следует продолжать встречаться до тех пор, пока он это явно не запретит. Почему я считаю, что он не очень доволен – потому что хотя он никогда не говорил, чтобы я не ходил с ней на свидания, в то же время у него все время какие-то шпильки и высказывания, заставляющие меня чувствовать себя неловко по поводу этих свиданий. Мой вопрос – считаете ли Вы, что в этих условиях мне следует продолжать или прекратить свидания с этой девушкой. Или давайте я сформулирую это в позитивном смысле: считаете ли Вы, что мне надо продолжать встречаться с этой девушкой?

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ – нет.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Нет. Это вообще интересно. Я, в общем, чувствую, что между мной и отцом нет особой враждебности, но он, возможно, чувствует, что это приведет к большей неприязни. Я полагаю, может быть, постороннему легче увидеть то, что я не способен в этот момент заметить.

Теперь я бы хотел задать второй вопрос.

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Хорошо.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Считаете ли Вы, что мне нужно дальше обсуждать с отцом эту ситуацию, или нет? Нужно ли мне обсуждать с отцом эту тему, насчет встреч с нееврейкой.

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ – да.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Да, я чувствую, что это разумно, но я просто не знаю, что ему сказать. Я имею в виду, что он, кажется, не очень проявляет понимание. Другими словами, он как бы боится обсуждать эту ситуацию. Ну, мне по крайней мере пока так кажется. Но я думаю, что если это для меня важно, если я действительно хочу встречаться с ней, то мне придется обсуждать это с отцом. Я, правда, не знаю, что сказать, потому что, ну, я с ней встречаюсь. Я не то чтобы в нее влюблен, но я действительно не знаю, как это все обернется. Думаю, нам следует провести обсуждение возможных перспектив, какие чувства у него это будет вызывать. Он, может быть, не сильно против сейчас, потому что мы только встречаемся, но, наверное, он видит будущие сложности, о чем бы ему сейчас хотелось бы откровенно поговорить. Теперь я готов к третьему вопросу.

Предположим, что я поговорил с отцом, и он позволил мне встречаться, но в то же время у меня остается впечатление, что на самом деле он не хочет, чтобы я с ней встречался, а говорит так, чтобы быть хорошим отцом. Должен ли я в этом случае все-таки продолжать встречаться?

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ – да.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Я в общем-то удивлен ответом. Я ожидал отрицательного ответа. Может, это оттого, что Вы не вполне знаете моего отца и его реакции; он — человек тонкий и очень осторожный в своих делах. Хотя он и разрешил мне продолжать встречаться с ней, у меня, возможно, будет чувство вины от того, что я знаю, что он против этого. Хотя я и не знаю, может ли это хоть сколько-нибудь помочь в этой ситуации. Так что, может, мы рассмотрим это глубже, и это уже следующий вопрос. Я готов теперь к четвертому вопросу.

Если после обсуждения с отцом и получения от него положительного ответа, который, я чувствую, не является его искренним мнением – считаете ли Вы, что будет правильно, если моя мама серьезно поговорит с ним, чтобы попытаться выяснить его истинное мнение об этой ситуации?

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ – да.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Вот это мне кажется справедливым. Я чувствую, что с мамой он выскажется честнее. Конечно, здесь тоже возможна проблема. Будет ли мама со мной полностью честна после этого? У нее, похоже, более либеральное отношение, чем у отца. Я не говорю, что она способна лгать, но она более либеральна относительно таких вещей и, возможно, в ходе беседы с отцом постарается представить ему мои взгляды и, следовательно, я опять получу два ответа. Если на это так посмотреть, то я не думаю, что я чего-то вообще добьюсь, но по крайней мере я чувствую, что мы понемногу продвигаемся. Я теперь готов к пятому вопросу.

Считаете ли Вы, что мне следует сказать этой нееврейке, с которой я встречаюсь, о моих проблемах дома с родителями, или следует подождать до..., ну, это уже другой вопрос. Считаете ли Вы, что мне следует сказать этой девушке, с которой я встречаюсь, о моих проблемах дома в связи с ее религией?

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ – нет.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Однако, я опять удивлен. Конечно, это может зависеть от того, насколько хорошо я отношусь к девушке и как долго я собираюсь с ней встречаться. Но лично я чувствую, что это будет только правильно — сказать ей, поскольку, если она, возможно, настроена более серьезно, чем я. Она может лучше понять ситуацию полностью, и если она считает, что это будет препятствием, тогда, возможно, это завершит ситуацию, прямо не говоря ей. Я чувствую, что, возможно, продемонстрирую это разными способами, и она не будет знать, какова ситуация на самом деле и, возможно, ее обратная реакция будет такова, что испортит наши свидания и все тому подобное. Я готов к шестому вопросу.

Если я влюблюсь в эту девушку и захочу подумать о женитьбе, то, как Вы считаете, справедливо ли будет, если я попрошу ее сменить веру на мою?

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ – нет.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Так, нет. Что ж, это меня ставит в безвыходное положение. Нет. Ну, я действительно считаю, что меня воспитывали определенным образом, и ее, я думаю, тоже.

Не то чтобы я был ортодоксом или что-то в этом роде, но, конечно, существует давление семьи и все такое прочее. И я вполне уверен, что она чувствует, к сожалению. Мне не встречались семьи, разделенные по религии, которые оказывались успешными. Так что я не знаю. Я думаю, что у меня может быть соблазн попросить ее поменять веру. Не думаю, что я это и вправду смогу. Я готов к вопросу номер семь.

Считаете ли Вы, что было бы лучше, если бы мы поженились и ни один из нас не желал бы обсуждать разницу религий или уступать в этом вопросе, и чтобы мы растили детей в нейтральной религии, отличной от двух наших верований?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Да, возможно это было бы решением. Если бы можно было найти религию, которая до какой-то степени вбирала обе наши. Я понимаю, что это невозможно сделать это буквально. Может быть, в каком-то смысле эта нейтральная религия могла быть сотворена нами самими, потому что я искренне верю в пользу религии, неважно какой, если это не доводится до крайностей, следовательно, все должны получить какое-то религиозное воспитание. Может, это и есть решение проблемы. Я полагаю, что мне надо развить эту линию еще немного дальше и посмотреть, что именно произойдет. Я готов к вопросу номер восемь.

Если бы мы поженились – не лучше ли было бы для нас жить в новом месте вне контакта с нашими родителями, чтобы на нас не оказывалось семейное давление из-за разницы в религиях?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Ну, я, пожалуй, соглашусь с этим ответом. Я чувствую, что, убегая от проблемы, многого не добьешься и, возможно, это будет одной из тех вещей в жизни, с которыми в конце концов мирятся, и что наши домашние и мы будем жить в гармонии. По крайней мере, я надеюсь, что это сработает, если мы к этому придем. Я не думаю, что для наших семей будет лучше, если мы не будем над этим работать и просто убежим от проблемы. Так что лучше нам остаться здесь и стараться над этим работать. Я готов к вопросу номер девять.

Если бы мы поженились и должны были растить детей, считаете ли Вы, что мы должны будем объяснить и рассказать нашим детям, что у нас была когда-то эта разница религий, или нам лучше просто растить их с этой новой религией, их религией, о которой мы говорили, и позволить им верить, что именно это и было нашей первоначальной религией?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Опять я бы с Вами скорее согласился. Полагаю, что им нужно сказать, потому что они, конечно же, узнают. И если они узнают о той разнице, которая у нас некогда была, то они подумают, что мы утаиваем или стараемся от них что-то скрыть, и это тоже не самая хорошая ситуация. Так что я думаю, что это будет лучший выход. Я готов к вопросу номер десять.

Думаете ли Вы, что наши дети (если они будут), сами столкнутся с какими-то религиозными проблемами из-за того, что у родителей и у нас были эти проблемы?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Ну, я даже не знаю, соглашусь я с этим или нет. Возможно, у них будут проблемы, если настанет путаница, и они почувствуют, что не понимают, что хорошо и что плохо или на какую сторону податься, если они не захотят придерживаться своей религии. Но я как бы чувствую, что, если их религия полноценная, которая удовлетворяет религиозные нужды, те нужды, которые должна удовлетворять религия, то с ними не будет проблем. Но я полагаю, что только время покажет, появятся ли такие проблемы. Я закончил свои комментарии.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: О-кей, я сейчас вернусь.

Экспериментатор появляется в комнате, где находится испытуемый, передает ему список позиций, которые он может прокомментировать, и уходит из комнаты. Испытуемый прокомментировал их следующим образом.



**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Ну, разговор у нас казался односторонним, потому что говорил все я. Но я полагаю, что мистеру Макхью было очень трудно полностью отвечать на эти вопросы без хорошего понимания личности разных вовлеченных сюда людей и того, как развивалась сама ситуация. Должен сказать, что полученные ответы, большинство из них, как раз такие, какие бы дал я сам, зная разницу в типах людей. Один или два ответа действительно меня удивили, но я думаю, что он, возможно, так ответил на эти вопросы, потому что не знает вовлеченных сюда людей, как они реагируют и/или среагировали бы в конкретной ситуации. Полученные ответы, большинство из них, имели для меня много смысла. Я чувствую, что он большей частью понимал ситуацию по мере нашего продвижения, в том смысле, что я интерпретировал его вопросы как полностью примиряющие в данных ситуациях, которые я ему представил, хотя они и были просто дан-нет ответы. Я чувствую, что в основном его ответы были полезны, он пытался в этой ситуации большей частью сделать как лучше, а не скомкать ответ или укоротить его, никоим образом. Я слышал, что хотел услышать в большинстве представленных в это время ситуаций. Может, я не услышал того, что в действительности хотел услышать, но, возможно, с точки зрения объективности, это были лучшие ответы, потому что тот, кто втянут внутрь ситуации, до определенной степени ослеплен и не может объективно смотреть на вещи. И, следовательно, эти ответы могут различаться для человека внутри ситуации и того, кто вовне, и может объективно смотреть на вещи. Я, правда, думаю, что данные им мне ответы... что он прекрасно понимал сложившуюся ситуацию. Пожалуй, я думаю, что тут надо уточнить. Может быть, когда я сказал, что надо поговорить с отцом, он не был уверен. К примеру, когда я сказал, что должен поговорить с отцом, он не знал точно, о чем я буду с ним говорить. Не знал полностью. Он знал общую тему, но не знал, насколько я близок с отцом или насколько беседа может быть глубокой. И если бы он сказал «да, поговори», зная, что отец не будет слушать, это было бы не лучшее решение, или если отец готов был слушать, то это, он говорит, может не помочь. Или не говори. Что ж, здесь опять возникли бы личные черты характера, о которых он не знает. Я верю, что эта беседа и полученные ответы имеют для меня глубокий смысл. Я хочу сказать, что это было, возможно, то, что я ожидал бы от человека, полностью понявшего ситуацию. И я чувствую, что это важно для меня, в этом было много смысла. Я чувствовал, что заданные мной вопросы имели прямое отношение к делу и, правда, помогли в понимании ситуации с обеих сторон, то есть мне и тому, кто давал ответы, и моя реакции на ответы, как я сказал, была в основном согласительная. Иногда я удивлялся, но понимал, что это из-за того, что он не вполне был в курсе ситуации и недостаточно понимал всех в нее вовлеченных.

## **СЛУЧАЙ 2**

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Я хотел бы знать, не следует ли мне сегодня изменить мою учебную специальность. Я специализируюсь в физике, причем у меня мало хороших оценок, чтобы получить в среднем С за физику. Я хотел бы переключиться на математику. У меня с ней есть некоторые проблемы, но думаю, что, может быть, справлюсь. Я провалил несколько курсов по математике здесь в У.К.Л.А.<sup>\*</sup>, но потом всегда повторял их и получал оценки С. В одном математическом курсе, который я учил несколько больше, чем другие курсы, я был близок к тому, чтобы получить В по математике. Но мой вопрос все еще звучит так: следует ли мне изменить специальность?

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ - нет.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Хм, он говорит, нет. Но если нет, то мне придется как-то добирать недостающие баллы, что будет очень трудно сделать, поскольку мои дела в этом семестре не слишком хороши. Если мне удастся прорваться в этом семестре с семью А, то я смогу рассчитывать, возможно, на получение диплома по физике в феврале. Однако передо мной

---

<sup>\*</sup> Университет Калифорнии, Лос-Анджелес — *Прим.ред.*

этот ужас ядерной физики. Я очень не люблю ядерную физику. Ядерная физика 124 будет одним из обязательных курсов для получения степени по физике.

Считаете ли Вы, что я смогу получить степень по физике, зная, что мне придется проходить Физику 124?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Ответ — да. Не понимаю, как я это смогу. Я не так уж силен в теории. Мои учебные навыки — ужасны. Читаю медленно и трачу мало времени на учебу.

Вы думает, что я смогу улучшить свои учебные навыки?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Он говорит, что я смогу улучшить свои учебные навыки. Мне вечно объясняли, как надо правильно учиться, но я все равно не учусь так, как надо. У меня нет достаточного стимула, чтобы прорваться в физике, не так ли?

Вы думаете, что у меня есть достаточный стимул для получения степени в физике?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Он говорит «мой ответ – да». Я думаю, это было бы возможно, если бы у меня не было такой плохой учебной истории, которая за мной тянется. Будет очень трудно добиться этой степени.

Вы думаете, что я смогу учиться, одновременно поддерживая хорошие отношения дома с женой и выполняя свою работу? Я не очень хорошо занимаюсь в институте, и у меня нет особого стимула заниматься, когда я дома. Но когда моя жена возвращается домой, я люблю заниматься. В то же время это отвлекает нас от всяких дел, и когда она не делает дела, то это мне действует на нервы, поскольку вся эта работа накапливается. Вы думаете, что я смогу успешно заниматься дома?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Он говорит — нет. Я тоже думаю, что нет.

Что же мне, возвращаться каждый вечер в институт после ужина, чтобы позаниматься?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Он говорит, что не надо возвращаться в институт, чтобы позаниматься. А куда же мне идти? Идти в библиотеку в кампусе, чтобы заниматься?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Он говорит, что мне следует идти заниматься в библиотеку. Какую библиотеку? У них может не быть всех нужных мне справочников, но они не всегда необходимы. Мне нужно задать еще хотя бы три вопроса. Вы считаете, что я смогу выработать достаточно хорошие навыки в учебе и получить стимулы для реальной выработки этих навыков, чтобы во всяком случае не произошло так, что я буду сидеть допоздна по ночам и в то же время не успевать с работой?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Он говорит — нет. Я не смогу развить у себя правильные учебные навыки, чтобы суметь пробиться. Если Вы не считаете, что я смогу развить у себя правильные учебные навыки и использовать их, чтобы достичь цели, то думаете ли Вы все-таки, что я смогу получить степень по физике?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: В таком случае, я не получу степени. Что мне делать? Вы еще со мной?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Если Вы не думаете, что я смогу . . . достичь нужной цели по улучшению своих учебных навыков и получить степень в физике, то советуете ли Вы, чтобы я ушел из института?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Он говорит, что мне надо уйти из института. Вы еще здесь?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Да.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** У меня еще один вопрос. Я бы хотел стать офицером в ВВС. Я закончил учебную программу Воздушных Сил Р.О.Т.С., но, чтобы пройти комиссию, мне нужен диплом. Если я не получу диплом, то с большой вероятностью не получу и звания, хотя есть «за» и «против» того, что я получу звание без диплома, хотя это и не то, чего хотелось бы. Вопрос заключается в том, пройду ли я комиссию в Воздушные Силы?

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ – да.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Он говорит, что я получу звание в ВВС, а это именно то, что мне нужно, но получу ли я когда-нибудь диплом? Если я получу звание без диплома, то получу ли я вообще диплом хоть в чем-то?

**ЭКСПЕРИМЕНТАТОР:** Мой ответ – нет.

**ИСПЫТУЕМЫЙ:** Это оставляет меня несколько раздосадованным, хотя в той работе, которой я хочу заниматься, мне реально диплом не нужен. Вы здесь? Возвращайтесь.

Испытуемый прокомментировал так.

Ну, как я понял из беседы, было бы довольно глупо продолжать пытаться получить диплом в чем-либо. На деле я всегда чувствовал, что та работа, которая меня интересует, – это изобретательство – не обязательно требует диплома. Требуется определенное знание математики и физики, но для изобретательства не нужен диплом. Из беседы я понял, что мне надо просто бросить учебу и получать звание, но как это сделать, я не знаю. Но было бы очень здорово получить диплом. Этот диплом позволил бы мне попасть в другие учебные заведения. В противном случае у меня будет документ, что я учился в колледже, но не закончил. Кроме того, у меня впечатление, что мои учебные навыки все равно никогда не улучшатся так, как бы мне хотелось. Я не получу диплом. Я получу звание, мне бесполезно заниматься – что дома, что в институте. Особенно по вечерам. Интересно, стоит ли мне вообще заниматься, или следует научиться делать всю работу в институте. Что делать? Я чувствую, что мои родители очень расстроятся, и родители моей жены очень расстроятся, если я так и не получу диплома, по крайней мере сейчас. У меня впечатление, что эта беседа основывается на том, чему необходимо было бы научиться много лет назад, то есть пока рос в детстве. Задавать себе вопросы и давать какие-то ответы, да или нет, и думать над причинами, почему правильно или, может быть, неправильно отвечать да или нет, и от правильности или ожидаемой правильности ответа на этот вопрос зависит, что надо делать для достижения цели или просто существовать. Лично я думаю, что у меня лучше получится в математике, чем в физике. Но точно я узнаю только в конце лета.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ**

Изучение протоколов показывает следующее:

**А.** Осуществление обмена мнениями.

Ни у кого из испытуемых не было затруднений в задавании серии из десяти вопросов и в подведении итогов и оценки совета.

**В.** Ответы рассматривались как *"ответы-на-вопросы."*

1. Обычно испытуемые слышали ответы экспериментатора как ответы-на-вопросы. В восприятии испытуемых ответы экспериментатора мотивировались вопросами.

2. Испытуемые сразу понимали, «что имел в виду советчик». Они «с ходу» понимали, о чем он говорил, *т.е.* что он имел в виду, а не что он произносил.

3. Типичный испытуемый предполагал в ходе обмена мнениями и интервью после эксперимента, что ответы являлись советом по поводу проблемы и что этот совет как решение проблемы состоял именно в ответах.

4. Все сообщили о «получении совета» и адресовали свою благодарность и критику этому «совету».

**С.** *Не было заранее запрограммированных вопросов; следующий вопрос мотивировался ретроспективно-перспективными возможностями текущей ситуации, которые менялись после каждого происшедшего обмена мнениями.*

1. Ни один испытуемый не задавал заранее запрограммированный набор вопросов.

2. Текущие ответы меняли смысл предыдущих обменов мнениями.

3. В ходе обмена мнениями работало, судя по всему, предположение, что должен быть получен ответ, а если ответ не очевиден, то его смысл может быть определен активным поиском, часть которого включала задавание другого вопроса, чтобы понять, «что имел в виду» советчик.

4. Много усилий прилагалось, чтобы понять предполагаемый смысл, который был не очевиден непосредственно из ответа на вопрос.

5. Текущий ответ-на-вопрос вызывал разбор возможностей, из которых и выбирался следующий вопрос. Следующий вопрос возникал как продукт размышлений над предыдущим ходом беседы и предположительно лежащей в основе проблемой, чьи стороны документировал и расширял каждый фактический обмен мнениями. Лежащая в основе «проблема» в результате обмена мнениями рассматривалась подробнее. Смысл проблемы постепенно приспособлялся к каждому текущему ответу, в то время как ответ мотивировал новые аспекты рассматриваемой проблемы.

6. Лежащий в основе образец составлялся и усложнялся в ходе серии обменов мнениями и приспособлялся к каждому текущему «ответу», чтобы поддерживать «ход совета» — уточнить, что было на «самом деле посовещано» перед этим, и мотивировать новые возможности как возникающие свойства проблемы.

#### *D. Ответы в поисках вопросов.*

1. В ходе обмена мнениями испытуемые иногда начинали с отклика на ответ и меняли смысл своего вопроса, чтобы учесть это в отклике как ответ на ретроспективно измененный вопрос.

2. Идентично произнесенные слова были способны ответить одновременно на несколько разных вопросов и составить ответ на сложный вопрос, который в терминах строгой логики предложений не допускал ответов да или нет или отдельных да или нет.

3. Одно и то же высказывание использовалось для ответа на несколько разных вопросов, разделенных во времени. Испытуемый называли это «пролить новый свет» на прошлое.

4. Текущие вопросы давали ответы на дальнейшие вопросы, которые вовсе не были заданы.

#### *E. Использование неполных, неподходящих и противоречивых ответов.*

1. Там, где ответы были неудовлетворительны или неполны, спрашивающие были готовы ждать дальнейших ответов, чтобы понять смысл предыдущих.

2. Неполные ответы рассматривались испытуемыми как неполные из-за «недостатков» этого метода дачи советов.

3. Неподходящие ответы были неподходящими по определенной «причине». Если причина находилась, то далее устанавливался смысл ответа. Если ответ был «разумен», то это воспринималось как «совет» отвечающего.

4. Когда ответы были несоответственными или противоречивыми, то испытуемые могли продолжать, обнаруживая, что «советчик» за это время узнал больше, или что он решил передумать, или что, возможно, он не был достаточно знаком с тонкостями проблемы, или что ошибка была в самом вопросе и его надо переформулировать.

5. При несоответственных ответах советчику приписывали знания и намерения.

6. Противоречия требовали, чтобы испытуемый выбирал реальный вопрос, на который отвечалось в ответе, что обеспечивалось тем, что задавался вопрос с дополнительным смыслом, который соответствовал «дополнительному смыслу» того, что говорил советчик.

7. В случае противоречивых ответов прилагалось много усилий, чтобы рассмотреть возможное назначение ответа, чтобы избавить ответ от противоречий или бессмысленностей и чтобы ответчик не выглядел, как не внушающий доверия источник.

8. Довольно большое число испытуемых рассматривали возможность обмана и проверяли такую возможность. Все подозрительные испытуемые неохотно действовали при

подозрении, что имел место обман. Подозрения утихали, если ответы советчика имели «хороший смысл». Наименее вероятным было продолжение подозрений, если ответы соответствовали предыдущим представлениям испытуемого о данном предмете и его предпочтительным решениям.

9. Подозрения превращали ответ в событие «просто речи», что выглядело, как случайное совпадение с вопросом задающего. Для испытуемых такая структура оказывалась трудной в поддержании и управлении. Многие испытуемые «все равно» видели смысл в ответе.

10. Те, кто проявлял подозрения, одновременно, хотя и временно, теряли желание продолжать.

*Ф. «Поиск» и восприятие образца.*

1. Во всем этом была заинтересованность и поиск образца. Однако образец воспринимался с самого начала. Вероятно, образец виделся с самого первого «совета».

2. Испытуемым было очень трудно ощутить возможность случайности в высказываниях. Предопределенное высказывание рассматривалось как обман в ответах, вместо того чтобы рассматриваться как высказывание, которое было предопределено заранее независимо от вопросов и интересов испытуемого.

3. Когда испытуемым приходила в голову возможность обмана, высказывание советчика документировало образец обмана вместо образца совета. Таким образом, связь высказывания с лежащим в основе образцом в качестве его документа оставалась неизменной.

*Г. Ответам присваивался мнимый источник.*

1. Испытуемые приписывали советчику в качестве его совета мысль, сформулированную в вопросах самого испытуемого. Например, когда испытуемый спрашивал: «Следует ли мне возвращаться в институт каждый вечер после ужина, чтобы позаниматься?» и экспериментатор отвечал: «Мой ответ — нет», то испытуемый в своих комментариях отмечал: «Он сказал, что мне не следует уходить в институт заниматься». Такое толкование было очень распространено.

2. Все испытуемые были удивлены, когда узнавали, что они внесли такой активный и мощный вклад в «совет, полученный ими от советчика».

3. Когда им сообщили об обмане, испытуемые были весьма раздосадованы. В большинстве случаев они изменили свое мнение о процедуре, подчеркивая ее неадекватность для целей экспериментатора (которую они все еще понимали, как исследование способов дачи советов).

*Н. Неясность каждой текущей ситуации в плане будущих возможностей осталась независимой от пояснения, данного в ходе обмена вопросами и ответами.*

1. Была неясность (а) в статусе высказываний в качестве ответа, (б) в его статусе, как ответа-на-вопрос, (с) в его статусе, как документированного совета, данного в принятом паттерне и (д) в лежащей в основе проблеме. В то время, как после цикла обменов мнениями давался «совет по проблеме», функция совета высвечивала также всю схему проблематичных возможностей, так что конечным результатом была трансформация ситуации испытуемого, в которой неясность ее горизонтов оставалась неизменной и «проблемы все еще оставались неразрешенными».

*И. В своей функции членов коллектива испытуемые обращались к институционализированному свойству коллективности как к схеме интерпретации.*

1. Испытуемые специально ссылались на различные общественные структуры при оценке разумности и обусловленности совета советчика. Такие ссылки, однако, не делались на какие-либо общественные структуры вообще. В глазах испытуемого, чтобы советчик знал и демонстрировал испытуемому, что он знает, о чем говорит, и чтобы испытуемый серьезно рассматривал описания обстоятельств со стороны советчика как основание дальнейших мыслей испытуемого и управления этими обстоятельствами, испытуемый не позволял советчику и даже не желал рассматривать *какую-либо* модель общественных структур.

Ссылки, указанные испытуемым, были на общественные структуры, которые он рассматривал как реально или потенциально известные вместе с советчиком. Причем не на *любые* общественные структуры, известные им обоим, но на *нормативно ценные общественные структуры*, которые испытуемый принимал как *условия*, которым его решения по отношению к его собственному разумному и реалистичному пониманию своих обстоятельств и «хорошему» характеру совета советчика, должны были соответствовать. Эти социальные структуры состояли из нормативных свойств общественной системы, *увиденных изнутри*, которые были для испытуемого определяющими его членство в различных сообществах, о которых шла речь.

2. Испытуемые редко указывали до случаев использования правил для определения факта и нефакта, какими были определяющие нормативные структуры, на которые ссылались бы их интерпретации. Правила для документирования этих определяющих нормативных указаний, похоже, вступали в игру только после того, как ряд нормативных свойств был мотивирован как релевантные для задач интерпретации, а затем как функция того факта, что деятельность интерпретации уже пошла.

3. Испытуемые заранее считали известные-всем свойства коллектива неким обыденным знанием, общим для обоих. Они основывались на этих заранее принимаемых паттернах, когда присваивали тому, что (как они слышали) говорил советчик, статус документального доказательства определяющих нормативных свойств коллективных установок эксперимента, семьи, школы, дома, занятия, куда были направлены интересы испытуемого. Эти свидетельства и коллективные свойства использовались в качестве ссылок друг на друга, причем каждое дополняло другое и, следовательно, расширялось в своих возможностях.

*И. Основание для решения было идентичным присваиванию совету его воспринимаемого нормальным смысла.*

Посредством ретроспективно-проспективного рассмотрения испытуемые оправдывали «разумный» смысл и санкционирующий статус совета как основания для управления своими делами. Его «разумный» характер состоял из его совместимости с нормативными правилами общественных структур, которые предположительно исполняются и являются известными как испытуемому, так и советчику. Задача испытуемого по определению правомочного характера совета была идентична задаче присвоения тому, что предлагал советчик, (1) его статуса как примера класса событий; (2) его вероятности произойти; (3) сравнимости с событиями прошлого и будущего; (4) условий, при которых оно происходит; (5) его места в системе связей средства-цели и (6) его необходимости в соответствии с естественным (то есть моральным) порядком. Испытуемые присваивали эти значения типичности, вероятности, сравнимости, причинной текстуры, технической эффективности и моральной обязательности, используя при этом институционализированные свойства коллективности в качестве схемы интерпретации. Таким образом, задача испытуемого по определению того, было ли «правдой» то, что предлагал советчик, была идентична задаче присвоения тому, что он предлагал, его воспринимаемого нормальных значений.

*К. Воспринимаемо нормальные значения не столько «присваивались», сколько управлялись.*

В результате работы по документированию — то есть поиска и определения паттерна, рассмотрения ответов советчика как мотивированных предназначенным смыслом вопроса, ожидания, что дальнейшие ответы прояснят смысл предыдущих, нахождения ответов на незадаанные вопросы — воспринимаемо нормальные значения данных советов были установлены, проверены, рассмотрены, сохранены, восстановлены; короче, управлялись. Следовательно, неправильно думать о документальном методе как о процедуре, где

предложениям дается членство в научном корпусе документов<sup>5</sup>. Скорее документальный метод разработывает совет как подтверждение членства в нормальном коллективе.

### **Примеры социологического исследования**

Примеры использования документального метода можно найти в любой области социологического исследования<sup>6</sup>. Его очевидное применение — изучение сообщества, где высказываниям присваивается правомочие на основе критерия «всеобъемлющего описания» и «кольца истины». Его использование обнаруживалось также во многих опросах, когда исследователь при рассмотрении своих записей интервью или при редактировании ответов на вопросник должен решать, «что имел в виду отвечающий». Когда исследователь адресуется к «мотивированному характеру» действия или теории или подчинению человека законному приказу и тому подобное, он будет использовать то, что он реально видел, для «документирования» «лежащего в основе образца». Документальный метод используется для конспектирования объекта. Например, так же, как в быту обычный человек может сказать о чем-то произнесенном, что это сказал «Гарри»: «Разве это не похоже на Гарри?», так и исследователь может использовать какое-то увиденное свойство предмета, на которое он ссылается, как на характеризующий признак подразумеваемого свойства. Сложные сцены вроде деятельности промышленных предприятий, сообществ или общественных движений часто описываются с помощью «отрывков» из протоколов и численных таблиц, которые используются для «конспектирования» требуемых событий. Документальный метод используется всегда, когда исследователь создает историю жизни или «естественную историю». Задача историзирования биографии человека состоит в использовании документального метода для отбора и упорядочивания прошедших событий, чтобы ассоциировать текущее состояние дел с соответствующим прошлым и будущим.

Использование документального метода не ограничивается случаями «мягких» процедур и «частичных описаний». Оно также имеет место в случаях строгих процедур, где описания должны исчерпывать определенное поле возможных наблюдаемых переменных. При чтении журнального отчета, предназначенного для буквального воспроизведения, исследователи, которые пытаются реконструировать связь между описанными процедурами и результатами, зачастую сталкиваются с недостатком информации. Этот разрыв появляется, когда читатель спрашивает у исследователя, как он определил связь между тем, что реально наблюдалось, и имевшимся в виду событием, в качестве доказательства которого и рассматривалось реальное наблюдение. Проблема читателя состоит в аргументации того, чтобы решить, что сообщенное наблюдение является буквальным примером имевшегося в виду события, то есть что реальное наблюдение и полагаемое событие являются идентичными *по смыслу*. Поскольку связь между ними является знаковым отношением, читатель должен обратиться к какому-то набору грамматических правил, чтобы определить эту связь. Такая грамматика состоит из некоей теории полагаемых событий, на основе которой рекомендуются решения по кодированию реальных наблюдений в виде результатов. Именно в этой точке читатель должен приступить к работе интерпретации, приняв предположение о «лежащих в основе» обстоятельствах, «просто совместно известных» об обществе в терминах, в которых то, что сказал отвечающий, рассматривается как синоним тому, что имел в виду наблюдатель. При разумных предположениях обычно подразумевается и прочитывается правильная связь. Эта связь является продуктом работы исследователя и читателя как членов общества единоверцев. Таким образом, даже в случае строгих методов,

<sup>5</sup> Ср. Felix Kaufman, *Methodology of the Social Sciences* (New York: Oxford University Press, 1944), особенно pp. 33-36.

<sup>6</sup> В своей статье «On the Interpretation of 'Weltanschauung,'» Мангейм утверждал, что документальный метод относится лишь к общественным наукам. В общественных науках существует много терминологических способов ссылаться на это — «метод понимания», «симпатическая интроспекция», «метод инсайта», «интуитивный метод», «интерпретативный метод», «клинический метод», «эмпатическое понимание» и так далее. Попытки социологов идентифицировать нечто, называемое «интерпретативной социологией», включают ссылки на документальный метод как основу для определения и гарантирования своих результатов.

в случаях, когда исследователь должен рекомендовать, а читатель — оценить опубликованные результаты, как принадлежащие к корпусу социологических данных, принимается на вооружение документальный метод.

### **Ситуации социологического исследования как ситуации выбора на уровне здравого смысла**

Для профессиональных социологов не считается чем-то необычным говорить о своих процедурах «производства фактов» как о процессах «видения насквозь», сквозь внешние оболочки, проникая в лежащую в основе реальность; как о продирании сквозь внешние проявления, чтобы «поймать инвариант». Что касается наших испытуемых, то их процессы неправильно представлять как «видение насквозь», скорее это — согласование с ситуацией, где фактическое знание общественных структур — фактическое в смысле обеспеченных оснований дальнейших умозаключений и действий — должно быть собрано и предоставлено в распоряжение для потенциального использования, несмотря на тот факт, что ситуации, которые она пытается описать, являются в любом поддающемся учету смысле неизвестными, их фактические и ожидаемые логические структуры являются по существу расплывчатыми и модифицируются, разрабатываются, расширяются, если не создаются, самим фактом и манерой описания.

Если многие свойства документальной работы наших испытуемых распознаваемы в работе профессионального социологического производства фактов, то аналогично многие ситуации профессионального социологического исследования имеют абсолютно те же свойства, что имели ситуации наших испытуемых. Такие свойства ситуаций профессионального социологического исследования могут быть более точно специфицированы следующим образом.

1. В ходе интервью исследователь, вероятно, обнаружит, что он вынужден характеризовать ряд текущих ситуаций, чьи *будущие состояния, которые возникнут в результате рассматриваемого хода действий*, являются существенно неясными или даже неизвестными. В огромном большинстве случаев эти как здесь-и-теперь возможные будущие состояния только смутно вырисовываются до того, как будут предприняты действия, которые должны их реализовать. Существует необходимость различать «возможное будущее состояние дел» и «как-перенести-это-в-будущее-начиная-с-текущего-состояния-дел-как-начальной-точки-отсчета». «Возможное будущее состояние дел» может быть весьма неясным. Но не это нас интересует, нас заботит, «как добиться этого, начиная со здесь-и-теперь». Именно это состояние — для удобства назовем это «оперативным будущим» — является обычно неясным или неизвестным.

Иллюстрация: Искушенный исследователь может описать с замечательной ясностью и определенностью, на какие вопросы он хочет получить ответы с помощью вопросника. То, что реальные ответы реальных испытуемых должны оцениваться, как «ответы на вопросы», встроено в набор процедурных решений, известных как «правила кодирования». Любое распределение ответов на вопросы, которое возможно при некоторых правилах кодирования, является «возможным будущим состоянием дел». После соответствующей исследовательской работы такие распределения ясно и определенно представимы для тренированных практиков. Но в огромном большинстве случаев оказывается, что даже на позднем этапе *реального* хода исследования вопросы и ответы, которые *действительно* были заданы и на которые был получен ответ при различных способах оценки истинных откликов испытуемого в качестве «ответов на вопрос», остаются, учитывая практические обстоятельства, которые необходимо учитывать при проведении реальной работы исследования, смутными и открытыми для «разумного решения» вплоть до момента подготовки к публикации результатов исследования.

2. Что касается будущего, любого будущего, которое известно определенно, альтернативные пути актуализации будущего состояния как набор пошаговых операций над



каким-то текущим начальным состоянием обычно отрывочны, несвязны и неразработаны. Опять необходимо подчеркнуть разницу между набором существующих процедур — опрашивающие могут говорить о них вполне определенно и ясно — и специально программируемыми пошаговыми процедурами, набором предрешенных «что-делать-в-случае-если» стратегий для манипуляции последовательностями фактических состояний дел *в их ходе*. В реальной практике такая программа обычно является неразработанной.

Например, одна из задач в «управлении рапортом» состоит в управлении пошаговым ходом беседы таким образом, чтобы позволить исследователю задавать вопросы в полезной последовательности, одновременно сохраняя некоторый контроль над неизвестными и нежелательными направлениями, в которые может завести реальный обмен мнениями<sup>7</sup>. Обычно исследователь заменяет запрограммированное пошаговое решение на *ad hoc* тактику, чтобы подстроиться к возникающей текущей возможности, причем эти тактики — лишь в целом управляются тем, что опрашивающий желал бы в конечном счете узнать в конце беседы. В таких обстоятельствах более точно говорить, что исследователи действуют с целью исполнения своих надежд или избежания своих же опасений, чем утверждать, что они явно и продуманно реализуют план.

3. Часто случается, что исследователь выполняет действие, и только после появления какого-то следствия этого действия он начинает рассматривать сделанные шаги в ретроспективном поиске их решающего характера. Поскольку *решение, которое было принято*, присваивается в ходе работы ретроспективного поиска, постольку про результат таких ситуаций можно сказать, что он происходит *до* решения. Такие ситуации необычайно часто происходят прямо во время написания журнальной статьи.

4. До реальной необходимости выбирать между альтернативными способами действий на основе ожидаемых последствий исследователь часто не может по различным причинам предвидеть следствия своих альтернативных направлений действия и должен, возможно, полагаться на свое реальное участие, чтобы узнать, какими могут быть эти следствия.

5. Зачастую, столкнувшись с каким-то реальным состоянием дел, исследователь может счесть его желательным и в дальнейшем рассматривать его как цель, к которой его предыдущие действия, как он их теперь ретроспективно понимает, были нацелены «все время» или «в конечном счете».

6. Часто происходит так, что только в ходе реальной манипуляции текущей ситуацией и в зависимости от нее проясняется природа будущего состояния дел исследователя. Тем самым цель исследования может быть определена только постепенно, как следствие того, что исследователь фактически предпринимает действие по достижению цели, свойства которой на данной стадии его расследования ему не ясны.

7. Обычно это ситуации «неполной информации». В результате исследователь неспособен оценить, тем более рассчитать, разницу, которая возникает в его действиях из-за непонимания ситуации. Не способен он и (до необходимости начать действовать) оценить последствия своих действий или рассмотреть альтернативный способ действий.

8. Информация, которая находится в его распоряжении и служит ему в качестве основы для выбора стратегий, редко является кодифицированной. Следовательно, его оценки вероятности успеха или неудачи обычно имеют мало общего с рациональной математической концепцией вероятности.

В своих расследованиях опрашивающие обычно должны управлять ситуациями с вышеуказанными свойствами и со следующими дополнительными условиями: что должно быть предпринято какое-то действие; что это действие должно предприниматься в то время, с таким темпом, длительностью и фазами, которые скоординированы с действиями других;

---

<sup>7</sup> Cp. Robert K. Merton and Patricia L. Kendall, "The Focused Interview," *American Journal of Sociology*, 51 (1946), 541-557.

что как-то надо управлять возможностью неблагоприятных исходов; что предпринятые действия и их продукты должны подлежать рассмотрению другими лицами и должны быть оправданы перед ними; что выбор способов действий и получающийся результат должны быть оправданы в рамках процедуры «разумной» оценки и что весь процесс должен происходить в рамках условий и быть мотивированно согласованным с корпоративно организованной общественной деятельностью. На своем «рабочем жаргоне» исследователи называют эти свойства своих реальных ситуаций опросов и необходимость управления ими «практическими обстоятельствами».

Поскольку эти свойства так легко распознаваемы в действиях повседневной жизни, ситуации с такими свойствами могут законно называться «обыденными ситуациями выбора». Рекомендуется иметь в виду, что когда исследователи ссылаются на «разумность» при присвоении статуса «результатов» тому, что найдено в результате исследований, они как бы приглашают использовать подобные свойства в качестве контекста интерпретации для определения разумности и оправданности. Результаты документальной работы, решения по которым принимаются в условиях обыденных ситуаций выбора, определяют термин «разумные результаты».

### **Проблема**

Большая часть «собственно социологии» состоит из «разумных результатов». Многие, если не все, ситуации социологического исследования являются ситуациями выбора на уровне здравого смысла. Тем не менее дискуссии по социологическим методам в учебниках и журналах редко признавали тот факт, что социологические исследования проводились под покровительством здравого смысла *в точках, где принимаются решения относительно связи между наблюдаемыми внешними проявлениями и ожидаемыми событиями*. Вместо этого существующие описания и концепции исследования принятия решений и решения проблем присваивают ситуации, в которой оказывается принимающий решения, следующие свойства<sup>8</sup>.

1. С точки зрения лиц, принимающих решения, существует как свойство каждого здесь-и-теперь состояния дел распознаваемая цель с указанными свойствами. Если говорить о социологическом опросе, эта цель состоит из текущей проблемы опрашиваемого, для решения которой предпринималось само исследование. Специфицируемые целями свойства состоят из критериев, по которым при любом текущем состоянии дел он определяет адекватность формулировки своей проблемы. В их терминах также «решение, адекватное событию» определяется как набор возможных событий.

2. Считается, что лицо, принимающее решения, ставит перед собой задачу по организации программы манипуляции каждым последующим текущим состоянием дел так, что каждое текущее состояние изменится, чтобы в своей последовательности они вошли в соответствие с ожидаемым состоянием, *то есть* с целью – решенной проблемой.<sup>9</sup> Эти свойства могут быть переформулированы в терминах правил свидетельств. В качестве состояния дел, поддающегося учету, проблема опрашиваемого может рассматриваться как предложение, «заявка» на членство, *то есть* ее гарантируемый статус только рассматривается. Правила процедуры, посредством которой определяется ее гарантируемый статус, тем самым оперативно определяют, что понимается под «адекватным решением». В идеальных научных изысканиях от опрашиваемого требуется решить, какие шаги

<sup>8</sup> Я хотел бы поблагодарить докторов Роберта Богуслава и Майрона Робинсона за многие часы дискуссий, которые были у нас о поддающихся и не поддающихся учету ситуациях выбора, где мы вместе пытались проработать проблему возможности неизменно хорошей игры в шахматы.

<sup>9</sup> В некоторых случаях изучающие процесс принятия решений были заинтересованы этими программами, которые представляют полностью учитываемые решения проблем лиц, принимающих решения. В других случаях исследования посвящались тому факту, что лицо, принимающее решения, может использовать вероятностные правила для определения дифференциальной вероятности того, что альтернативный курс действий изменит текущее состояние дел в желаемом направлении.

определяют адекватное решение еще до того, как он делает выбранные шаги. От него требуется принять это решение до того, как он выполнит операции, которые позволят решить относительно возможностей выдвинутого предложения, происходили ли они реально или нет. Задача определения адекватного решения тем самым логически предшествует реальному наблюдению. Наблюдение тем самым называют «программируемым» или, альтернативно, ожидаемому событию дается «операционное определение», или, альтернативно, создаются условия для того, чтобы случилось ожидаемое событие, или, альтернативно, делается «предсказание».

Важным аргументом в пользу такого акцента является то, что документальный метод есть научно ошибочная процедура; что его использование искажает объективный мир в зеркале субъективного предубеждения; и что там, где ситуации выбора на уровне здравого смысла существуют, они осуществляются как исторические помехи. Сторонники методов, используемых в социологических исследованиях и лабораторных экспериментах, например, говорят про их растущее освобождение от ситуаций с характеристиками на уровне здравого смысла и их документальной обработки. После Второй мировой войны было написано множество пособий по методам, чтобы предложить средства от таких ситуаций. Эти методы предназначены для указания путей преобразования обыденных ситуаций в поддающиеся вычислению. В особенности использование математических моделей и статистических схем вывода применяется как поддающиеся изучению решения проблем строгого определения осмысленности, объективности и оправданности. Огромные суммы фондовых денег, адекватные исследовательские конструкции по определению критериев и многие карьеры зиждятся на убеждении, что это именно так.

В то же время общеизвестно, что в огромном количестве методологически приемлемых исследований и, парадоксально, именно в соответствии с частотой использования строгих методов, наблюдаются драматические несоответствия между теоретическими свойствами ожидаемых *социологических* результатов исследований и математическими предположениями, которые должны удовлетворяться для того, чтобы статистические меры использовались для буквального описания ожидаемых событий. В результате статистические измерения наиболее часто используются как индикаторы, как знаки чего-то, как представляющие или выступающие от имени ожидаемых результатов, а не как их буквальные описания. Тем самым, в точке, где из статистических результатов должны быть получены социологические выводы<sup>10</sup>, строгие методы утверждаются в качестве решений задач буквального описания на основе «разумных» соображений.

Даже если можно продемонстрировать, что эти свойства хотя бы присутствуют, не говоря уже о том, что они играют важную роль, в социологических исследованиях, тем не менее не является ли справедливым утверждение, что ситуация опроса может подвергаться документальной обработке и в то же время фактический статус его продуктов будет решаться по другому? Например, не является ли справедливым то, что осуждают *ex post facto* анализ? И не правда ли, что практик, который выяснил после изучения своих записей, на какие проблемы он «в конечном анализе» получил ответы, может снова запросить грант для проведения «подтверждающего исследования» той «гипотезы» которую создали его размышления? Существует ли, следовательно, какая-либо *необходимая* связь между свойствами ситуаций обыденного выбора, использованием документального метода и корпусом *социологического факта*? Должен ли документальный метод обязательно использоваться профессиональным социологом для определения разумности, объективности и оправданности? Существует ли обязательная связь между теоретическим предметом

---

<sup>10</sup> Термин «результаты» используется для указания набора *математических* событий, которые возможны, когда процедуры статистического испытания, например, при помощи теста хи-квадрат, рассматриваются как грамматические правила для понимания, сравнения, создания и т.д. событий в математической сфере. Термин «результаты» используется для указания на набор *социологических* событий, которые возможны, когда (при предположении, что социологические и математические сферы соответствуют друг другу в своих логических структурах) социологические события интерпретируются в терминах «правил статистических выводов».

социологии, как это образуется отношением и процедурами «социологического взгляда», с одной стороны, и канонами адекватного описания, *то есть* свидетельством, с другой стороны?

Между методами буквального наблюдения и работой по документальной интерпретации опрашивающий может выбрать первое и достичь строгого буквального описания физических и биологических свойств социологических событий. Это демонстрировалось во многих случаях. Пока что выбор делался ценой либо пренебрежения свойствами, которые делают события социологическими, либо с использованием документальной работы для обращения с «мягкими» частями.

Выбор связан с вопросом об условиях, при которых обязательно происходит буквальное наблюдение и документальная работа. Сюда входит формулировка и решение проблемы социологического свидетельства в терминах, позволяющих описательное решение. Без сомнения, научная социология является «фактом», но фактом в смысле Феликса Кауфмана, *то есть* в терминах набора процедурных правил, которые *фактически* управляют использованием рекомендованных социологами методов и результатов как основой для дальнейших выводов и опросов. Проблема свидетельства состоит из задач, призванных сделать этот факт понятным.

*Перевод с английского Турчаниновой Ю.И., Гусинского Э.Н.*

Ян Шапиро

## Моральные основания политики\*

### Введение

Когда правители действительно заслуживают нашей лояльности, а когда все же стоит отказать им в ней? Этот старый и вечно злободневный политический вопрос составляет основу нашего исследования. Сократ, Мартин Лютер и Томас Мор напоминают нам о его плодотворности; Вацлав Гавел, Нельсон Мандела и Аунг Сан Суи Куй постоянно подчеркивают его неиссякающую актуальность. Все эти люди, с моральной точки зрения, безусловно – герои, ибо их целью было обуздание несправедливой власти, тогда как Адольф Эйхман в нравственном отношении, несомненно – злодей, поскольку этот вопрос он перед собой никогда не ставил. Если мотивация и поведение Эйхмана в качестве чиновника среднего ранга в нацистской Германии являют собой образец повиновения технически легитимной власти, то действия его, в результате которых тысячи и тысячи были отправлены в нацистские концлагеря, заставляют задуматься об ограничениях легитимности любого правления<sup>1</sup>.

События, связанные со смертью самого Эйхмана, ясно показали: гораздо проще заявить, что такие ограничения вообще должны иметь место, нежели говорить, что их необходимо ужесточить или даже предложить конкретные способы их ужесточения. Так, Эйхман, захваченный – в нарушение аргентинского и международного законов – израильскими коммандос, был тайно переправлен в Израиль, судим и казнен за преступления против человечности и еврейского народа. Многие из тех, кому и в голову не пришло бы оплакивать его смерть, были все же озабочены способом его задержания, тем фактом, что его судили в стране и судом, которых на момент совершения им преступлений еще не существовало, и тем, что закон был специально подогнан для упрощения процедуры обвинения и экзекуции. Эти действия находятся в очевидном противоречии с принципами легитимной политической власти, исключаяющей незаконные поиски и захват, разработку закона *post hoc* под конкретные случаи и законопроекты о присуждении к смерти. И все же коль скоро нас раздражают как действия Израиля в отношении того, что это государство, игнорируя современные правовые институты, считает моральным императивом, так и рабская приверженность Эйхмана правовым институтам *его* времени, то наш вопрос приобретает весьма рельефные очертания. Кто и по каким критериям будет судить, соответствуют ли законы и действия государства, взыскивающего нашей лояльности, всеобщим требованиям? В этой книге мы разберем основные ответы, которые дает на эти вопросы современная западная мысль.

Одна группа ответов произрастает из утилитаристской традиции. «Введение в принципы морали и законодательства» Иеремии Бентама, впервые опубликованное в 1789 г., является ее *locus classicus*, хотя корни утилитаризма уходят гораздо глубже, да и сам утилитаризм, как мы увидим, с того времени неоднократно подвергался переформулированию и очищению. Утилитаристский ответ на наш вопрос – это вариант утверждения, что легитимность властей связана с их желанием и способностью обеспечить полноту счастья. Что именно следует считать счастьем, чье счастье просчитывать, как его измерить и кто ведет подсчеты – вот некоторые из спорных вопросов, отличающих

---

\* Ian Shapiro. *The Moral Foundations of Politics*. New Haven - London: Yale University Press, 2003. Chapter 1. Enlightenment politics.

<sup>1</sup> Дискуссию по поводу заявления Эйхмана о том, что его действия были легитимными, см. Hannah Arendt. *Eichmann in Jerusalem*. N.-Y.: Penguin Books, 1963.

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Перевод с английского Малахова.Е.В., 2003

различных утилитаристов друг от друга (речь об этом пойдет в главах 2 и 3). Несмотря на разногласия по поводу этих и других важных моментов, утилитаристы обычно солидарны друг с другом в том, что мы должны судить власти, руководствуясь достопамятным, несмотря на всю свою неясность, изречением Бентама, по которому от властей следует ожидать достижения наивысшего счастья для наибольшего числа людей.

Марксистская традиция, которая будет предметом нашего рассмотрения в главе 4, использует идею эксплуатации как уровневую отметку для вынесения суждения касательно политической легитимности. Марксисты существенно отличаются друг от друга в зависимости от определения эксплуатации, ее отношений с трудом и с экономико-политическими системами, а также роли политических институтов в ее упразднении. Тем не менее все марксисты согласны в том, что политические институты, являясь нелегитимными в той мере, в какой они гарантируют эксплуатацию, приобретают легитимность в той мере, в какой они защищают противоположность эксплуатации – свободу. С марксистской точки зрения, всякая система в истории санкционировала тот или иной вид эксплуатации, и только коммунизм и социализм обещают мир, свободный от эксплуатации. С того момента, как Маркс провозгласил этот тезис, история не особенно спешила открыть человечеству подобные возможности, но тем не менее, даже если их желаемые варианты недостижимы, некоторые аспекты марксистской теории, как мы увидим далее, могут быть полезными для понимания нормативных свойств капитализма и различения относительной легитимности различных типов капиталистической системы.

Традиция общественного договора, рассматриваемая в главе 5, предлагает третий тип ответа на мой вопрос. Аргументация теории общественного договора стара как мир, но в их современной форме ее обычно возводят к «Левиафану» Томаса Гоббса, опубликованному в 1651 г., и к «Третьему трактату о власти» Джона Локка, впервые появившемуся как анонимное сочинение в Англии в 1680 г. Для приверженцев теории общественного договора легитимность государства коренится в идее соглашения. С самого начала они расходились относительно природы этого соглашения, относительно того, кто представляет спорящие стороны в нем, и как – если вообще – проводить соглашение в жизнь. Однако все они считают, что источник легитимности государства – согласие его граждан. Мы должны быть верными государству, если оно воплощает наше согласие, и мы свободны (а в некоторых формулировках даже обязаны) противостоять ему, если оно этого не делает.

Каждая из этих традиций – утилитаристская, марксистская и традиция общественного договора – выбирает свой собственный фокус и выдвигает на передний план свой набор вопросов относительно политической легитимности, однако эти традиции перекрещиваются друг с другом в гораздо большей степени, чем то порой кажется. Я собираюсь показать, что основная причина здесь заключается в том, что все они принципиальным образом были сформированы Просвещением. Это философское направление имеет своей целью рационализацию социальной жизни путем ее научного обоснования, и содержит в себе мощный нормативный заряд, который заставляет всерьез принимать идеал человеческой свободы, нашедший выражение в политической доктрине прав индивида. Просветительский проект, как именовал этот феномен Алесдейр Макинтайр, обычно ассоциируется с трудами таких европейских мыслителей, как Рене Декарт (1596–1650), Готфрид Лейбниц (1646–1716), Бенедикт Спиноза (1632–1677) и Иммануил Кант (1724–1804), хотя он также испытал серьезное влияние английских эмпириков, Джона Локка (1632–1704), Джорджа Беркли (1685–1753) и Дэвида Юма (1711–1776). Мы увидим, как под воздействием ценностей Просвещения сформировались утилитаристская и марксистская традиции, традиция общественного договора, и, кроме того, в ходе исследования этих традиций будет дана оценка пониманию таких ценностей Просвещения, как наука и права индивида.

У Просвещения всегда были хулители; на них мы остановим внимание в главе 6. Спектр критиков просветительского политического мышления широк: от традиционалистов типа Эдмунда Берка (1729–1797) до различных теоретиков постмодернизма и коммунизма в современной литературе. Несмотря на многочисленные различия, их

роднит как глубокий скептицизм (если не сказать враждебность), по отношению к цели рационализирующих политик, опирающихся на науку, так и к идее, что свободы, воплощаемые в правах индивида, суть наиважнейшая политическая ценность. Они скорее склонны приписывать основную нормативную значимость врожденным нормам и практикам, связывая легитимность политических институтов с тем, насколько полно последние воплощают коммунальные ценности, формирующие жизнь индивидов и придающие ей смысл. Истоки самости, как пишет Чарльз Тейлор, они усматривают в системах преданности и членства индивидов, которые являются для индивидов предзаданными и которые, формируя представления о политической легитимности, продолжают существовать после их смерти.

К концу главы 6 будет показано, что несмотря на серьезные трудности с утилитаристской и марксистской традициями, а также с традицией, восходящей к теории общественного договора, радикальный отказ от просветительского проекта в политике невозможен, а если бы даже это было не так, то все равно он был бы нежелателен. Одни трудности порождены спецификой самих теорий, другие связаны с присущими им особыми представлениями о ценностях Просвещения. Что касается трудностей первого типа, то каждая из этих трех традиций содержит интуиции, которые благополучно пережили неудачи самих традиций как всеобъемлющих политических доктрин и которые, в силу этого, могут быть весьма плодотворными для наших размышлений об источниках политической легитимности. Что же до вторых, то здесь я различаю раннее Просвещение, вполне уязвимое для анти-просветительски настроенных критиков, и Просвещение зрелое, которое уязвимым отнюдь не является. Нападки на Просвещение за его центрированность на идее основополагающей достоверности вовсе не противоречат фаллабилистскому представлению о науке, лежащему в основе теории и практики наших дней, и какие бы трудности ни возникали в связи с идеей индивидуальных прав, они блекнут на фоне трудностей, ожидающих того, кто пытается создать теорию политической легитимности без них.

Здесь встает вопрос: какая политическая теория воплощает ценности зрелого Просвещения в наибольшей степени? Мой ответ – демократия (см. главу 7). Демократическая традиция имеет очень старые корни, однако современные ее формулировки, которые образуют каркас политической дискуссии наших дней, либо продолжают, либо опровергают аргументацию Жан-Жака Руссо по поводу общей воли, представленную в «Общественном Договоре» (1762). Демократы считают, что власть легитимна тогда, когда те, для кого решения значимы, играют соответствующую роль в их принятии, и когда существуют серьезные возможности оппозиции нынешней власти и замены ее на альтернативную. Демократы разнятся по многим частным пунктам в отношении к тому, как должны быть организованы власть и оппозиция, кто должен иметь право голоса, как должны подсчитываться голоса и какие ограничения могут быть наложены (если вообще, могут) на решения демократического большинства. Однако они солидарны в приверженности демократическим процедурам как самому важному источнику политической легитимности. Мое утверждение о том, что они правы, многим покажется уязвимым, по крайней мере, вначале. Демократия давно и неоднократно подвергалась критике как абсолютно враждебная истине и святости индивидуальных прав. Я же доказываю, что критика такого понимания этих ценностей, как оно представлено зрелым Просвещением, – упорное заблуждение. У демократической традиции, в отличие от ее действующих альтернатив, больше возможностей и ресурсов для проверки противоположных политических заявлений на достоверность и для защиты тех индивидуальных прав, которые с наибольшей полнотой воплощают стремление человека к свободе.

## **Глава 1. Политики Просвещения**

Философское направление, известное под именем Просвещения, в действительности представляло собой несколько отдельных, хотя и перекрещивающихся, интеллектуальных течений, чьи истоки восходят, по крайней мере к началу XVII в. и чье влияние ощутимо

присутствует в любом занятии. Философия, наука и изобретательство, искусство, архитектура и литература, политика, экономика и организация – все сферы человеческой деятельности несут на себе неизгладимый отпечаток того или иного момента Просвещения. Несмотря на многочисленные нападки, которым с самого начала подвергались различные аспекты его философских допущений и практических следствий, просветительское мировоззрение доминировало в интеллектуальном сознании Запада добрых четыре столетия<sup>2</sup>.

Если есть нечто, объединяющее приверженцев разных течений просветительской мысли, то это вера в способность человеческого разума постичь подлинную природу условий нашего существования и природу нас самих. Взгляд Просвещения, дающий толчок идее прогресса человеческих отношений, глубоко оптимистичен. Логично предположить, что по мере своей экспансии разум найдет возможность контролировать окружающую среду и жизнь человека, а, быть может, даже совершенствовать их. Восторженные поклонники Просвещения, страшась опасностей, связанных с этой возможностью прогресса, все же всегда считали ее весьма соблазнительной, что нашло яркое отражение в нынешних дебатах по поводу прогресса генетики. С ростом знания растут и возможности генной инженерии устранять наследственные заболевания и врожденные дефекты. Однако этот же рост знания может быть использован для манипулирования человеческой психикой в духе Оруэлла. Сторонники Просвещения верят в то, что потенциальные преимущества обретаемого знания перевесят риск, а в некоторых случаях – что люди просто неспособны противостоять искушению подлинного знания. Будь то продукт голого энтузиазма или дисциплинированного желания направить неизбежное в наиболее подходящее русло, просветительский проект – это проект развертывания разума, нацеленного на совершенствование человеческих отношений.

В стремлении Просвещения понять общественный и природный мир через развертывание разума и в желании поставить разум на службу человеческому совершенствованию, конечно же, не было ничего нового. Нет нужды глубоко вчитываться в платоновское «Государство», чтобы обнаружить такую устойчивую ценность, как свойственная разуму погоня за знанием. В центре внимания «Никомаховой этики» Аристотеля – совершенствование человека, которое может быть достигнуто путем целенаправленного формирования наиболее податливых сторон человеческой психики в соответствии с объективно идентифицируемыми добродетелями. Однако у просветительского понимания разума и человеческого совершенствования есть особые отличительные черты. Предполагается, что стремление разума к знанию опосредуется и осуществляется наукой, и что критерием совершенствования, воплощающим и защищающим человеческую свободу, выступают индивидуальные права человека.

### 1.1. Господство науки

Сосредоточенность на науке вытекала из программы по обеспечению надежности и достоверности всего имеющегося знания. О мериле надежности впервые заговорил Декарт, заявивший, что он ищет утверждения, которые было бы невозможно подвергнуть сомнению. Его знаменитый пример, известный как *cogito*, звучал так: «Я мыслю, следовательно, я существую»<sup>3</sup>. Сам акт сомнения, как кажется, с необходимостью подтверждает его. Разные мыслители Просвещения на протяжении нескольких последующих столетий понимали знание и науку чрезвычайно различным образом, однако все они были поглощены задачей, как ее сформулировал Кант в «Критике чистого разума» (1781), направить знание «на надежную дорогу науки»<sup>4</sup>. Это развитие философии отражало и укрепляло возникающее

---

<sup>2</sup>Вероятно, наилучшее общее исследование Просвещения принадлежит перу Джонатана Израэла. См. : Jonathan Israel. Radical Enlightenment : Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750. Oxford, Oxford University Press, 2001.

<sup>3</sup>Декарт Рене. Рассуждение о методе.

<sup>4</sup>Кант Иммануил. Критика чистого разума.



научное сознание. Последнее предполагает не простую приверженность идее науке как единственной силе, производящей истинное знание, но также и глубокую оптимистическую веру в ее освободительные возможности. Формула Френсиса Бэкона (1561–1626) «знание–сила» была программной декларацией двойной веры в науку как единственное надежное средство познания мира и как лучшее орудие его преобразования в соответствии с человеческими задачами и стремлениями.

Для целей нашего рассуждения важно заметить, что в эпоху Просвещения заметно вырос статус гуманитарных наук. На протяжении XVII и XVIII столетий, когда критерием научного знания была несомненная достоверность, статус этики, политической философии и гуманитарных наук считался более высоким, чем статус естественных наук. Это покажется странным с выгодной позиции XXI века, когда такие области знания, как физика, химия, астрономия, геология и биология – все с поразительной скоростью достигли порога открытий, немислимых в XVIII столетии. Гуманитарные же науки, напротив, не преуспели в производстве устойчивого знания, и есть сомнения в том, что этика и политическая философия могут быть предметами науки. Чтобы понять, почему современный взгляд на относительный статус этих разных сфер исследования столь радикально отличен от представлений, господствующих в эпоху раннего Просвещения, необходимо остановить внимание на двух, впоследствии исчезнувших, специфических чертах его эпистемологии.

### 1.1.1. Идеал знания как мастерства

Первая из этих черт касается позиции *априорного* знания – того типа знания, которое либо вытекает из определений, либо каким-то иным образом выводится из некоторых общих принципов. Этот тип знания имел в виду Декарт, формулируя свое *cogito*, и это же знание Кант относил к сфере «аналитических суждений», отличая последние от «синтетических» суждений. Последние всегда включают в себя прыжок от субъекта к предикату, «который никаким способом не может быть в нем (субъекте) помыслен, и который никакой анализ не способен из него выделить»<sup>5</sup>. Если аналитические суждения чаще всего мыслятся как логически вытекающие из значений понятий, то о синтетических суждениях такого сказать нельзя – в основном потому, что их достоверность зависит от того, что находится за пределами дедуктивных значений. В XX в. некоторые философы ставили под сомнение существование жесткого разделения суждений на аналитические и синтетические<sup>6</sup>, однако в основном все принимают ту или иную его версию.

То, в чем большинство резко *отличалось бы* сегодня от философов раннего Просвещения, касается места этики, политической философии и гуманитарных наук в этой схеме. Все эти дисциплины мыслители раннего Просвещения относили к сфере *априорного* знания, поскольку релевантным критерием было не различие знания, истинного по определению, и знания, извлеченного из опыта. Это было различие знания, зависящего от человеческой воли, и знания, от нее независимого. Как сформулировал Гоббс в трактате «О человеке», чистые или «математические» науки могут быть познаны *а priori*, а «смешанные математики» (такие, как физика) зависят от «причин натуральных вещей /которые/ не в нашей власти»<sup>7</sup>. Более полно он выражает эту мысль в Посвятельном Послании к «Шести урокам профессорам математики»:

«Из искусств некоторые наглядно доказуемы, другие – нет; наглядными или подлежащими демонстрации являются те, где конструкция предмета "из которого", "о котором" находится во власти самого художника, который в своей демонстрации всего лишь выводит следствия из своего собственного действия. Аргумент "из которого" состоит в том, наука любого предмета возникает из предпознания его причин, зарождения и устройства; и, следовательно, там есть место для демонстрации, где причины познаны, а не там, где их надо

<sup>5</sup>Там же.

<sup>6</sup>См. W.V.Quine. «Two Dogmas of Empiricism» in: W.V.Quine. From a Logical Point of View: Logico-Philosophical Essays. N.-Y.: Harper Torchbooks, 1953. P.22–46.

<sup>7</sup>Гоббс Томас. De Homini.

искать. Геометрия поэтому подлежит демонстрации, ибо линии и фигуры, исходя из которых мы рассуждаем, прочерчены и описаны нами самими; и философия общества так же подлежит демонстрации, поскольку мы сами создаем общее благосостояние. Но в силу того, что в случае природных тел, мы не знаем устройства, а ищем его, исходя из следствий, здесь демонстрация искомым нами причин не как они есть, а только каковыми они могли бы быть»<sup>8</sup>.

Эта просветительская теория «мастера в мастерской» до-юмовского периода наделяла моральные проблемы гораздо более высоким статусом, чем это делали все последующие эпохи. Возьмем заявление Гоббса в конце введения к «Левиафану»: что, после того, как он изложил свое доказательство «аккуратно и ясно», единственной задачей читателя остается решить, находит ли он то же самое в самом себе, «ибо этот род Учения не допускает никакой иной Демонстрации»<sup>9</sup>. Даже не предполагая, что читатель должен увидеть совпадение его собственных интуиций с интуициями автора, Гоббс подчеркивает свою уверенность в том, что аргументация «Левиафана» имеет силу математического доказательства.

Локк придерживается схожего воззрения, хотя фундамент его был заложен теологическими контroversиями, которые поначалу покажутся *arcane*. Тем не менее, способ его обращения с этими контroversиями оказал влияние на многие из обсуждаемых нами учений. Основным вопросом для Локка и для многих его современников был онтологический статус естественного закона и, в частности, его отношение к Божьей воле. Если принять точку зрения, распространенную среди теоретиков естественного закона его времени, согласно которой естественный закон вечен и неизменен, это угрожает другому утверждению, которое многие из них считали неопровержимым: Бог всемогущ. По определению, всемогущий Бог не может быть связан естественным законом. Но если Бог способен изменять естественный закон, мы не можем утверждать, что он лежит по ту сторону времени и изменений. Локк упорно боролся с этим противоречием, в конце концов так и не добившись победы, однако в своих моралистических и политических сочинениях он решительно переходит в лагерь волюнтаристов или волецентристов<sup>10</sup>. Он не мог отказаться от утверждения, что для того, чтобы нечто имело статус закона, оно должно быть продуктом воли. Принимая эту волюнтаристскую точку зрения, Локк равняется на других волецентристских теоретиков раннего Просвещения, особенно на немецкого философа и теоретика естественного права Самуэля фон Пуфендорфа<sup>11</sup>.

Волюнтаристская теория естественного закона прекрасно согласуется с общей эпистемологией Локка, которая является отражением только что описанной нами эпистемологии Гоббса. Локк различает «эктипические» и «архетипические» идеи: первые – общие идеи субстанций, вторые – человеческие конструкты. Это порождает радикальную дизъюнкцию между естественным и условным знанием, основанием которой выступает дальнейшее различие «номинальных» и «реальных» сущностей. В субстанциях, зависящих в своем существовании от внешнего мира (такowymi являются, например, деревья или животные) человеческому знанию даны только номинальные сущности. Реальная сущность доступна только творцу субстанции – Богу. Однако применительно к архетипам номинальная и реальная сущности суть синонимы, и поэтому реальные сущности по определению могут быть познаны человеком. Поскольку общественные практики всегда представляют собой функцию архетипических идей, из этого следует, что человеческому

<sup>8</sup>Thomas Hobbs. The English Works of Thomas Hobbs. L.: John Bohn, 1966. VII pp.183–4.

<sup>9</sup>Гоббс Томас. Левиафан.

<sup>10</sup>Локк Джон. О дискуссии по этому поводу см.: Patrick Riley. Will and Political Legitimacy. Cambridge, Ma: Harvard University Press. P.61–97. См. также Jan Shapiro. The Evolution of Rights in liberal Theory N.- Y.: Cambridge University Press, 1986. P.100–118.

<sup>11</sup>См.Т.Т.Нохстрассер, Natural Law Theories in the Early Enlightenment. . Cambridge: Cambridge University Press, 2001; Ian Hunter. Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany. . Cambridge: Cambridge University Press, 2001 и James Tully. A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries. . Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

познанию доступны реальные общественные сущности. Мы знаем то, что мы делаем. Тем самым, для Локка, как и для Гоббса, человек может иметь непротиворечивое знание о своих творениях и, что особенно важно для нашего исследования, о политических устройствах и институтах<sup>12</sup>.

### 1.1.2. Достоверность как предмет особого внимания

Настойчивое утверждение волецентрированности как признака высшей формы знания, включает момент архаического приукрашивания того, что мы сегодня подразумеваем под аналитической истиной. Не менее архаичным было связанное с этим отвержение форм знания, не зависящих от воли. Для пост-юмовской традиции, напротив, характерно фаллабилистское представление о знании. Все утверждения знания могут быть ошибочными, и наука движется вперед не потому, что она делает знание более достоверным, а потому, что она производит больше знания. Признание исправимости всех утверждений знания и того, что всякий может ошибаться, составляет отличительную черту современного научного подхода. Как заметил Карл Поппер (1902–94), когда гипотезы успешно проходят проверку опытом, самое большее, что можно сказать в этом случае, это то, что они не были фальсифицированы и поэтому мы можем временно их принять<sup>13</sup>. Яркой иллюстрацией здесь служит недавнее исследование известной группы астрофизиков, выдвинувших гипотезу, согласно которой, то, что мы принимаем за фундаментальные законы природы, может не быть неизменным. Если это подтвердится, то последствия для нашего понимания современной науки будут, по меньшей мере, столь же радикальными, как теория относительности Эйнштейна<sup>14</sup>.

Таким образом, по мере становления Просвещения, этике, политической философии и важнейшим гуманитарным наукам пришлось столкнуться с двойной угрозой. Отказ от креационистских теорий знания лишило их характерной для раннего Просвещения идентификации с логикой и математикой как главных наук. Однако было далеко не ясно, располагают ли они утверждениями, которые можно проверить эмпирически в соответствии со стандартами критической, фаллабилистской науки. Не будучи ни достоверным, ни подлежащим фальсификации, их вызов был порожден стремлением избежать ярлыка наук «чисто субъективных», страхом угодить, как ярко выразился Э.Дж.Айэр в «Языке, истине и логике» (1936), в мусорное ведро спекуляции, очутиться в одной компании с метафизикой. «Коль скоро выражение ценностного суждения не является пропозицией», – утверждает Айэр, – «вопрос об истинности и ложности здесь не встает»<sup>15</sup>. Теоретики этической науки «относятся к пропозициям, отсылающим к причинам и атрибутам наших этических чувств, как если бы это были определения этических понятий». В результате, делает вывод Айэр, они отказываются признать тот факт, «что этические понятия суть псевдо-понятия, и, следовательно, они неопределимы»<sup>16</sup>. Айеровская логико-позитивистское учение часто подвергалось нападкам, однако, как мы увидим, его представление о ненаучном характере нормативного исследования прочно укоренилось как в академических, так и в широких общественных кругах.

<sup>12</sup>См. Локк Джон...Продолжение дискуссии см. в: Tully. A Discourse on Property. P.9–27 и Jan Shapiro. The Evolution of Rights in Liberal Theory P.109–110.

<sup>13</sup>Дискуссию о дедуктивно-номологической модели Хемпеля см в: Carl G.Hempel. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. N.-Y.: Free Press, 1965. P.298–303. Кроме того, дискуссию по поводу попперовского фальсификационизма см. в: Karl R.Popper. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. L.: Routledge and Kegan Paul, 1963. P.228,238.

<sup>14</sup>J.K.Webb, M.T.Murphy, V.V.Flambaum, V.A.Dyuba, J.D.Barrow, C.W.Churchill, J.X.Prochaska and A.M.Wolfe. Further Evidence for Cosmological Evolution of the Fine Structure Constant : Physical Review Letters 87 (August 2001) : 091301 – 091601.

<sup>15</sup>Alfred J. Ayer, Language, Truth and Logic. Harmondsworth: Penguin Books, 1971 |1936, P.29.

<sup>16</sup>Ibid., P.149–50.

## 1.2. Центральное положение индивидуальных прав

Наряду с верой в науку, сфокусированность на проблеме индивидуальных прав отличает политическую философию Просвещения от античной и средневековой философии с их приверженностью порядку и иерархии. Такой фокус ставит свободу индивида в центр споров о политике. В традиции естественного закона сигнал этому движению дало смещение акцента от логики закона к идее естественного права. Гоббс в «Левиафане» заявляет, что принято соединять «Jus и Lex, Право и Закон; однако их следует различать; ибо если Право состоит в свободе делать то-то и то-то или же воздерживаться от действий, то Закон определяет и привязывает к тому или другому – что в одном и том же деле несовместимо»<sup>17</sup>. Схожую аргументацию мы находим в локковских «Эссе о законе природы», опубликованных в 1660 г. Отвергая традиционную христианскую коррелятивность между правом и законом, он настаивает на том, что естественный закон «следует отличать от естественного права, ибо право основано на том факте, что мы вольны распоряжаться чем-либо, тогда как закон есть то, что предписывает или запрещает делать что-либо»<sup>18</sup>. Обрывочные сведения о том, насколько различны были эти движения мысли, можно получить, обратив внимание на тот факт, что европейские языки, в отличие от английского, не знают этого лингвистического различия. Немецкое слово *Recht*, итальянское *diritto*, французское *droit* – все они используются для обозначения закона в теоретическом, абстрактном смысле как права, ибо этимологии этих идей исторически очень тесно связаны друг с другом. В авангарде этого изменения были английские теоретики общественного договора, однако, как мы увидим, неизгладимый след, оставленный им на политической территории, гораздо шире.

Мы уже говорили о том, что в волюнтаристской теологии Локка всемогущество Бога фундаментально. То, что воспринимается человеком в качестве естественного закона, на самом деле представляет собой естественное Божественное право, выражение Его воли<sup>19</sup>. Локковская теория собственности естественным образом вытекает из этой схемы, трансформируя *workmanship* (творческую? созидательную) модель знания в нормативную теорию права. Именно в актах автономного созидания и возникают права на то, что создается: созидание влечет за собой собственность и поэтому естественный закон лежит в основе естественного права Божества на свое творение<sup>20</sup>. Частые локковские отсылки к метафорам *workmanship* и мастерство часовщика, которые он делает в «Двух трактатах» и других работах выражают ту фундаментальную мысль, что люди обязаны Богу в силу задач, стоявших перед ним в момент их создания. Люди суть мастерство Всемогущего и бесконечно мудрого Создателя... Они суть его Собственность, его, кто создал их, чтобы они жили для его, а не для своей радости»<sup>21</sup>. По Локку, человеческие существа – уникальные божественные создания, ибо Бог наделил их способностью полагать, создавать собственные права по своему усмотрению. Мы увидим, что эта идея в секуляризированной форме много переживет *workmanship* теологию и эпистемологию, ее породивших. Согласно локковской формулировке, естественный закон устанавливает, что человек есть субъект божественных императивов, предписывающих, как ему строить свою жизнь. Однако в пределах законов природы люди могут действовать богоподобным образом. Человек как творец обладает отличающим творца знанием своих интенциональных действий и естественным правом власти над их результатами. Если мы не нарушаем естественный закон, мы находимся в том же отношении к предметам, нами создаваемым, в каком Бог находится к нам; мы владеем

---

<sup>17</sup>Гоббс Т. Левиафан.

<sup>18</sup>Локк Джон.. Эссе о законе природы.

<sup>19</sup>Следуя формулировке этого различия Гоббсу и Пуфендорфу, Локк охватывает мысль (принимает) важное размежевание томистской традиции, уходящее корнями в предпринятое Гроцием возрождение римского юридического понятия права как *sumum*, своего рода нравственной силы или *facultas*, которой обладает каждый человек. и которая имеет концептуальные корни, как показал Квентин Скиннер

<sup>20</sup>Локк Джон. Опыт о законе природы.

<sup>21</sup>Локк Джон. Два трактата о правлении. Дальнейшее обсуждение этой темы см. в: Tully, A Discourse on Property, P.35–38; John Dunn. The Political Thought of John Locke. Cambridge University, 1969. P.95.

ими так же, как он владеет нами<sup>22</sup>. Таким образом, естественный закон или божественное естественное право полагает внешние границы того поля, в котором люди обладают священной властью действовать подобно маленьким богам и самим создавать себе права и обязанности.

### **1.3. Трения между наукой и индивидуальными правами**

Вопрос о том, как преклонение перед наукой и приверженность идее индивидуальных прав повлияли на дискуссии об источнике политической легитимности, мы рассмотрим в следующих главах. Основной момент, который нам пока следует иметь в виду, был сформулирован мною при изложении локковской теологии, и состоит он в том, что эти две просветительских ценности пребывают друг с другом в потенциальном конфликте. Наука представляет собой детерминистский проект, цель которого состоит в открытии законов, управляющих мирозданием. В социальных и политических областях очевидным образом выявляется ее конфликтный потенциал в отношении с этикой, ставящей во главу угла человеческую свободу: если человеческие действия подчинены закону, как тогда возможна свобода действия, благодаря которой наша приверженность идее индивидуальных прав имеет значение и смысл? Этот момент давнишнего противостояния свободной воли и детерминизма выделяется Локком в его теологических размышлениях, однако формулировка его как конфликта науки и индивидуальных прав придает ему характерный просветительский оттенок.

Даже Гоббс и Локк, делавшие такой упор на существовании дефинитивных ответов на нормативные вопросы, не смогли полностью преодолеть это противоречие. Оба они полагали, что люди вольны действовать по собственному усмотрению, если естественный закон молчит. Если же нет, то оба не соглашались довольствоваться утверждением, что свободная человеческая воля всегда должна уступать требованиям естественного закона. Дело обстояло именно так, хотя для обоих за естественным законом стояла мощь и науки, и теологии. Гоббс был убежден, что рационально мыслящие индивиды добровольно согласятся подчиниться абсолютному суверену, поскольку альтернативой была бы ужасающая гражданская война. Из этого следует, что суверен может приказать подчиненному отдать в сражении свою жизнь, однако здесь Гоббс чувствует себя обязанным предупредить суверена, чтобы тот не удивлялся, если подчиненные не выкажут большой охоты это делать<sup>23</sup>. Локк же, хотя и полагал, что человеческие существа подчинены естественному закону, как учит Писание, однако признавал тот факт, что тексты Писания в достаточной мере туманны, чтобы оставалось место для разночтений. Один из его главных споров с сэром Робертом Филмером на страницах «Первого трактата» касался локковского тезиса о том, что Бог говорит напрямую с каждым, кто читает Библию, и что никакая человеческая власть не уполномочена объявлять одну интерпретацию авторитетнее другой, ей противостоящей<sup>24</sup>. Эта свобода постигать естественный закон силами собственного разума лежит в основе права противодействия суверену, которое, по Локку, может в определенный момент вступить в силу и к которому он лично апеллировал в 1680-е годы в период противостояния английской короне. Его убежденность в том, что правильные ответы, касающиеся смысла Писания и, следовательно, требований естественного закона, могут быть найдены, не означала отрицания свободы человека высказывать несогласие даже по поводу самого этого предмета.

Короче говоря, хотя *workmanship* – идеал и выступает как попытка сочетания детерминистических предписаний науки с этикой, в центре которой стоит представление об индивидуальной свободе, для людей он чреват напряженностью, аналогичной парадоксу

<sup>22</sup>См. Локк Джон. Опыт о человеческом разумении, К.II, Гл.27 и Кн.I, Гл.30. См. также James Tully. *A Discourse on Property*, P.108–10, 121.

<sup>23</sup>Гоббс Т. Левиафан.

<sup>24</sup>Локк Джон. Два трактата о правлении. Развитие анализа см. в: Richard Ashcraft. *Lockes Two Treatises of Government*. L.: Allen Unwin, 1986. Chapter 3.

естественного закона, который так заботил Локка. Если существуют неопровержимо правильные ответы относительно политической легитимности, которые обязан признать всякий здравомыслящий человек, в каком же смысле тогда люди имеют право сами решать этот вопрос? Но если они, ведомые прихотью или предрассудком, свободны отвергать разоблачения науки, что остается от претензии науки на приоритет перед иными способами взаимоотношения с миром? Мы увидим, что напряженность постоянно напоминает о себе и в утилитаризме, и в марксизме, и в традиции общественного договора. В новой форме она проявляет себя в демократической традиции, уживаясь с процедурными механизмами демократии, которые ослабляют ее, но никогда не снимают полностью. Такая его устойчивость есть отражение реальности, а именно того, что очарованность наукой и приверженность идее индивидуальных прав в равной мере составляют основу политического сознания Просвещения.

## Глава 2. Классический утилитаризм

Иеремия Бентам был весьма краток. На первой странице своего единственного систематического трактата о политике он сводит свою доктрину к одному абзацу:

«Природа отдала род человеческий в распоряжение двух правителей: *боли* и *удовольствия*. Только они указывают, что мы должны делать, и определяют, что мы будем делать. С одной стороны их трона – мерило добра и зла, с другой – цепь причин и следствий. Они управляют нами всегда: что бы мы ни делали, чтобы ни говорили, что бы ни думали. Всякие попытки сбросить эту зависимость лишь еще проявляют, подтверждают ее. Человек может делать вид, что разрушает их империю, но на деле он все время остается их подданным. *Принцип полезности* признает эту зависимость и кладет ее в основание той системы, цель которой – культивирование ткани благосостояния средствами разума и закона. Системы, пытающиеся подвергнуть ее сомнению, ведут торговлю значениями, а не смыслами, причудами, а не разумом, тьмой, а не светом»<sup>25</sup>.

Далее Бентам пояснял, что принцип полезности «одобряет или осуждает всякое действие в соответствии с тенденцией, которая ему, похоже, присуща, – тенденцией приумножать или уменьшать счастье тех, чей интерес этим действием затронут; или же, говоря по сути то же самое, но другими словами, способствовать или противодействовать этому счастью». Бентам полагал, что его принцип счастья в равной мере приложим как к индивидам, так и к правителям, причем в последнем случае он требует обеспечения наибольшего счастья для наибольшего числа членов сообщества<sup>26</sup>. Это, как мы увидим далее, оказалось бы весьма непростым предприятием, однако он не сомневался, что оно осуществимо и что власть, следующая его указаниям, добьется процветания и будет считаться легитимной, тогда как тех, кто не сможет этого сделать, неминуемо ожидают долгие темные века бездейственной нищеты. Бентам потратил много лет жизни в попытках вписать свою утилитаристскую схему в проект устройства социальных и политических институтов – от тюрем до парламентов. Он колесил по миру, защищая ее перед правителями и политиками. Его уверенность сочеталась с теоретическими амбициями. Он нисколько не сомневался, что можно целиком, до мельчайших деталей разработать систему управления всеми сферами человеческого взаимодействия, что сводило политические и моральные проблемы к технической калькуляции полезности. Век спустя Маркс и Энгельс напишут об утопическом строе, при котором политика будет заменена администрированием<sup>27</sup>. Бентам верил, что это можно сделать в Англии XVII столетия.

<sup>25</sup>Бентам Иеремия. Введение в принципы морали и законодательства.

<sup>26</sup>Там же.

<sup>27</sup>Отсюда знаменитое замечание Энгельса о том, что при настоящем социализме «управление людьми будет заменено управлением вещами». См. Энгельс Фридрих. Анти-Дюринг.

## 2.1. Научная основа классического утилитаризма

Невозмутимое дитя Просвещения, Бентам с презрением относился к влиятельной в то время традиции естественного закона, заклеив все теории естественного закона и естественных прав своей известной формулой «чистая чушь...риторическая чушь, – чушь на ходулях»<sup>28</sup>. Он защищал широкую систему политических прав, усматривая в них, однако, результат человеческих действий, порожденных законодательной системой и проводимых в жизнь сувереном. Он подчеркивал, что не существует прав без проведения их в жизнь, а последнего не может быть без власти,<sup>29</sup> – прямое выражение точки зрения, впоследствии известной под именем законодательного позитивизма. Если естественный закон традиционно рассматривался как то, что обеспечивает уровневую отметку для оценки позитивной законодательной системы, создаваемой людьми, то для Бентама не существует ничего, кроме позитивного закона и его следует оценивать согласно утилитарным принципам, основанным на научном знании.

Бентам был убежден, что утилитаризм обладает мощью картезианского *cogito*. «Когда человек пытается бороться с принципом полезности», – подчеркивал он, – «он руководствуется, сам того не сознавая, соображениями, вытекающими как раз из этого принципа»<sup>30</sup>. Таким образом, если моралист-аскет избегает удовольствия, то делает он это в действительности «в надежде заслужить честь и почет других людей»; эта перспектива и есть истинный источник его удовольствия. Отказ от удовольствия или самоистязание по религиозным мотивам – это отражение «страха перед будущим наказанием со стороны раздражительного и мстительного Божества». Такой страх представляет не что иное, как «перспективу боли», то есть чисто утилитарную мотивацию<sup>31</sup>. Не требуется долгих размышлений для уяснения того факта, что понятия стремления к удовольствию и избежания боли в том значении, в которых их использовал Бентам, были достаточно объемны, чтобы с их помощью заново описать любую возможную мотивацию. Сегодня подобное рассуждение заслуживает подозрения на том основании, что теория психологии человека, будучи не фальсифицируемой в принципе, не поддается оценке с научной точки зрения. Бентам же, работая в границах мейнстрима раннего Просвещения, совершенно естественно считал эту особенность своей аргументации подтверждением утилитаристской позиции.

Согласно Бентаму, утилитаризм имеет натуралистическое основание в императивном стремлении человеческого организма к выживанию. Это весьма примечательный тезис, особенно если вспомнить, что он был выдвинут за 70 лет до Дарвина<sup>32</sup>. Бентам признавал существование религиозных, моральных и политических источников и санкций боли и удовольствия, однако настаивал на том, что все они основаны на физических источниках и являются вторичными по отношению к ним. Физическое – «фундамент» политического, морального и религиозного; оно «включено в каждый из них»<sup>33</sup>. Мы подчиняемся принципу полезности в силу «естественного устройства человека»<sup>34</sup>; часто бессознательно и даже тогда, когда наши сознательные оценки наших собственных действий несовместимы с ним. Если бы мы не держались бы этого принципа, говорит нам Бентам в «Психологии экономического человека», «существование человеческого рода не могло бы продолжаться»

<sup>28</sup>Jeremy Bentham, «Anarchial Fallacies», перепеч. в «The Works of Jeremy Bentham». Edinburgh- London: Wiliam Tait, 1843. Vol.II, P.501.

<sup>29</sup>Ibid., p.500.

<sup>30</sup>Бентам Иеремия. Введение в принципы морали и законодательства.

<sup>31</sup>Там же.. В этой связи Бентам, возможно, имеет в виду ранне-христианские общины *circumceliones*, известные своей практикой самоубийств с целью избежать риска прегрешения и последующего проклятия. Особенно высоко у них ценилась мученическая смерть в руках спровоцированных на жестокость «нечистых» или же принятие заведомо ведущей к кончине аскезы, хотя в крайнем случае и другие способы самоумерщвления также считались приемлемыми. См.G.Steven Neeley. The Constitutional Right to Suicide: A Legal and Philosophical Examination. N.-Y.: Peter Lang, 1994. P.40.

<sup>32</sup>«Происхождение видов» Чарльза Дарвина было впервые опубликовано в 1859 г.

<sup>33</sup>Бентам И. Введение в принципы морали и законодательства.

<sup>34</sup>Там же.

и «нескольких месяцев, а тои и недель или дней хватило бы для его уничтожения»<sup>35</sup>. Бентам принимает это за «аксиому», сравнимую с аксиомами, выдвинутыми Евклидом, которые гласят, что «успешно или неудачно» человек стремится к счастью и, покуда человек остается человеком, счастье будет его целью во всем, что он делает»<sup>36</sup>.

## 2.2 Индивид versus общая польза и необходимость власти

В свете такого крайне детерминистического представления о природе человека встает вопрос: какое место здесь достается власти? Если люди стремятся к удовольствию и избегают боли неустанно и не обременяя себя иными соображениями, то, похоже, для действий власти, умножающих пользу, остается не так уж много места. Добавим к тому же слова Бентама о том, что законодательная сфера почти никак не связана с причинами удовольствия, что ее основная функция – недопущение проступков<sup>37</sup>, и станет очевидно, что главный источник полезности он усматривает в личных действиях индивидов (в частности, в сфере производства материальных благ. Это ясно сформулировано в бентамовских «Принципах гражданского кодекса»:

*«Закон не говорит человеку "Работай и я вознагражу тебя"; он говорит: "Трудись, и, останавливая руку тех, кто хочет лишить тебя плодов твоего труда, я гарантирую тебе их - это естественное и достаточное вознаграждение, которое без меня ты не сможешь защитить"». Если промышленность создает, то закон охраняет; если впервые момент мы всем обязаны труду, то во второй и во все последующие мы всем обязаны закону»<sup>38</sup>.*

Приведенный пассаж отражает бентамовскую точку зрения, согласно которой, несмотря на то, что власть закона сущностно важна для реализации принципа полезности, закон должен ограничивать себя, дабы люди могли следовать этому принципу самостоятельно. Это утверждение, как мы увидим далее, не обязательно является прямым следствием логики утилитаризма, однако Бентам, по-видимому, был его сторонником<sup>39</sup>.

Роль власти, *действительно вытекающая* из логики бентамовской теории укоренена в его эгоистическом допущении, будто бы стремление к удовольствию и избежание боли всегда функционируют на уровне индивидуальной психологии. Люди заботятся только о предельном умножении собственной пользы, оставаясь совершенно безразличными к общественному благу. Из этого следует, что они станут нарушать обещания, красть у других то, что представляет ценность для них самих, и при этом смогут выйти сухими из воды, если только не существует уголовного законодательства, защищающего жизнь, здоровье и права собственности, а также гражданского законодательства, обеспечивающего реализацию договоров и вообще всячески способствующего коммерческой деятельности. Сама по себе такая возможность недостаточна для оправдания власти исходя из бентамовских посылок, поскольку, насколько мы знаем. Война всех против всех, в которой сильные пожирают слабых, может иметь своим результатом создание максимально широкой сети полезности в интересах сильнейших. (Как будет ясно из нашего дальнейшего изложения, один из наиболее жестких вариантов критики утилитаризма отправляется от следующей посылки: нравственная значимость, согласно утилитаризму, может быть приписана не тому или иному субъекту, который испытывает пользу, а лишь самому факту испытываемости пользы, или *использованию*). Следовательно, с точки зрения Бентама, для легитимации власти надобно нечто большее, нежели простое утверждение, будто присущая людям себялюбивая жажда наслаждений непременно возьмет верх над всеми другими мотивами.

<sup>35</sup>Bentham. *The Psychology of Economic Man* reprinted in W.Stark, ed., *Jeremy Bentham's Economic Writings*, Vol. III. L.: George Allen & Unwin, 1954. P.422. Это название было выбрано Старком для антологии бентамовских сочинений, повлиявших на дальнейшее развитие политической экономии.

<sup>36</sup>Ibid., p. 421.

<sup>37</sup>Jeremy Bentham. *Principles of the Civic Code*, reprinted in *The Works of Jeremy Bentham*, Vol. I, p.301.

<sup>38</sup>Ibid., p.308.

<sup>39</sup>Подробнее о бентамовском тезисе о фундаментальной роли закона как гаранта безопасности см. в: Nancy Rosenblum, *Benthams Theory of Modern State*. Harvard University Press, 1978. P.53.



Это «нечто большее» сводится к двум моментам. Первый: себялюбивое поведение индивида иногда приводит его к поражению. Есть множество обстоятельств, при которых индивиды, ориентирующиеся исключительно на собственный интерес, добровольно этому интересу не следуют. Приводимый Бентамом пример, который можно считать одним из первых описаний логики свободного предпринимательства, связан с финансированием войны. Несмотря на то, что каждый индивид пользуется преимуществами, которые дает ему защита армии, у него нет никакой ощутимой прибыли от его налоговых вложений, поэтому нет и резона добровольно вкладывать деньги в военные действия, если большую прибыль можно получить иным образом<sup>40</sup>. Вообще говоря, когда человек знает, что добро все равно восторжествует, само по себе, независимо от того, что сделал лично он, счетчик чисто эгоистической пользы непременно перестанет работать. Проблема обеспечения общественных благ относится к ряду проблем, где рынок терпит провал и где незримая рука рынка указывает более-менее оптимальный выход всем заинтересованным лицам<sup>41</sup>. Бентам видел, что поскольку «целостность общества обеспечивается только жертвами, к которым людей можно принудить за взыскиваемое ими вознаграждение», властям порой приходится заставлять их жертвовать тем или иным даже тогда, когда бы они могли бы этого не делать. Принять эти жертвы – «великая трудность, великая задача власти»<sup>42</sup>.

Кроме того, что Бентам был приверженцем этой зарождающейся теории оправдания власти через тезис об ограниченных возможностях рынка, он также верил, что власти принадлежит решающая роль в состязании утилитарных интересов и в реализации политик по их поощрению. Современные теории, в основе которых лежит представление об индивидах, преследующих собственный интерес, обычно исходят из радикального анти-патерналистского допущения, что индивиды суверенны, в том числе и в определении своей собственной полезности. Это расширенное допущение не заработало в утилитаристской традиции, пока Джон Стюарт Милль, спустя поколение после Бентама, его не переформулировал. Это допущение не приобрело радикально субъективистский смысл, пока Чарльз Л. Стивенсон, находясь в кильватере логического позитивизма Айера, не отбросил тезис, принимаемый утилитаристской традицией как аксиоматический по меньшей мере со времени Юма: у различных людей источники удовольствия и боли схожи. Именно поэтому Юм считал, что были бы решены все фактические вопросы, не осталось бы вопросов моральных, и что *science of the passions* могла бы дать обобщенные выводы, приложимые ко всем. Именно этот момент Стивенсон подверг радикальному сомнению. Исходя из того, что нет достаточных оснований полагать, что «информированные в фактическом отношении люди будут согласно преследовать одни и те же цели», он делает следующий вывод: «если бы действительно *не существовало ничего* такого, по поводу чего все люди или наиболее информированные люди – при всех различиях темпераментов – не могли бы прийти к согласному решению, то *не существовало бы ни добра, ни зла*»<sup>43</sup>.

Для Бентама, писавшего за полтора столетия до этого полного превращения эгоизма в чистый субъективизм, весь смысл новой утилитаристской науки состоял в том, чтобы

<sup>40</sup> The Psychology of Economic Man, p.429.

<sup>41</sup> Общественные блага (такие как чистый воздух или национальная безопасность) – это блага, которые по своей природе требуют коллективной поддержки и которые не допускают исключения каких бы то ни было членов группы. В результате, они становятся уязвимыми для free riding. См.: Mancur Olson. The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press, 1971. P.1–3, 64–65, 125–126.

<sup>42</sup> Benham. The Psychology of Economic Man, p.431.

<sup>43</sup> Charles L. Stevenson. Ethics and Language. New Haven: Yale University Press, 1944. P.275. Юм, конечно же, более знаменит своим утверждением невозможности выведения «того, что должно быть» от того «что есть». Юм Д. Трактат о человеческой природе. Т. II. Однако, именно потому что психология, по самой своей сущности, представлялась Юму общеприменимой, его подчеркивание принципиального различия фактов и оценочных суждений, похоже, не ставит под сомнение возможность делать выводы относительно того, что такое требования справедливости и что есть общий интерес. См.: Alasdair MacIntyre, “Hume on ‘is’ and ‘ought’”, in Vere C. Chappell, ed., Hume (London: Macmillan, 1966), pp. 240-64, Geoffrey Hunter, “Hume on Is and Ought”, Philosophy Vol.37 (1962), pp.1448-52, спор Хантера с Энтони Флу в Chappell, Hume, p.278-94, а также W.D. Hudson, “Hume on Is and Ought”, ibid., pp.295-307.

получить определенные ответы, не сводящиеся к мнениям или же субъективным оценкам. «С анатомией человеческого духа дело обстоит так же, как и с анатомией и физиологией человеческого тела: редкость не то, что человек в ней несведущ, а то, что он хорошо в ней разбирается»<sup>44</sup>. Бентамовский эгоизм, таким образом, носит в высшей степени объективистский характер. Он никогда не сомневался в том, что вначале можно произвести общие утилитаристские расчеты, а затем власть может скалькулировать соотношение затрат и выгоды, чтобы определить наилучший путь для развития общества. Он рассматривал удовольствие и боль в четырех направлениях: с точки зрения интенсивности, продолжительности, определенности или неопределенности и «родства или дальности»<sup>45</sup>. Он также полагал, что «масштаб» или число лиц, к которым относится данное, вызывающее удовольствие или боль действие, можно вычислить ради политического сообщества как целого. Как и многие политэкономы с тех пор, он сомневался в возможности точно измерить интенсивность, однако он был уверен, остальные направления вполне поддаются количественному расчету<sup>46</sup>. Таким образом, перед его мысленным взором вставала гигантская система калькуляции затрат и выгоды, обеспечивающая достижение общественной пользы. Калькуляция охватывала все: от базовых конституционных установлений до оптимального наказания отдельных нарушений закона в уголовном праве<sup>47</sup>. И действительно, большая часть практических параграфов «Принципов морали и законодательства» была посвящена созданию такого рода грандиозной утилитаристской схемы, которую последующие поколения должны были дорабатывать и уточнять, не меняя при этом ее основ. Бентаму она представлялась своего рода универсальным учебником, к которому законодатели, коль скоро они стремятся изменять общество на подлинно научной основе, должны обращаться, выверяя свои «утилитометры».

Бентам считал далее, что боль и удовольствие, связанные с различными действиями не только количественно исчислимы, но также и заменимы. За этим логическим шагом возникает вопрос: что выступает мерой или счетной единицей, позволяющей полагать их сравнимыми между собой? Если не было такой меры, замечает он, «не существовало бы ни пропорции, ни диспропорции между преступлением и наказанием»<sup>48</sup>. В более общем плане, люди не могли бы сравнивать различные источники боли и удовольствия и делиться с другими людьми своими суждениями о «степени» полезности. Интра- и интер-субъективные сравнения такого рода предполагают существование единой меры, в отношении к которой боль и удовольствие во всем многообразии их видов выступали бы взаимно пропорционально. У полезности должен существовать осязаемый, материальный «представитель».

Ответ Бентама: это – деньги. Подобно тому, как термометр служит «измерению атмосферного тепла», а барометр – «измерению давления воздуха», деньги служат «инструментом для измерения количества боли и удовольствия». Бентам признавал, что деньги в качестве единицы калькуляции нельзя считать совершенно удовлетворительным основанием. Однако все бремя доказательства он возлагал на скептиков: «Либо найдите что-

<sup>44</sup> Bentham, *Psychology of Economic Man*, p.425.

<sup>45</sup> Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, pp.29-32. Он также считал, что «плодоносность» или вероятность того, что за удовольствием или болью, которые были вызваны некоторым действием, в будущем последуют те же удовольствие или боль, может быть просчитана, равно как может быть просчитана ее «чистота» - вероятность, что за ними «не последуют ощущения *прямо противоположные* : боли, если до этого было удовольствие, и удовольствие, если это была боль». Эти две последние черты « в строгом смысле вряд ли могут считаться собственными свойствами удовольствия и боли; следовательно, в строгом смысле их не следует принимать во внимание при оценке этого удовольствия или этой боли». *Ibid.*, p.30.

<sup>46</sup> Bentham, *Psychology of Economic Man*, p.443.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p.152–54.

<sup>48</sup> Bentham, *The Philosophy of Economic Science in: Stark, Jeremy Bentham's Economic Writings, Vol.I*, p.118. Это название Старк избрал для антологии бентамовских сочинений, оказавшей впоследствии значительное влияние на полит-экономическую мысль.

то иное, более точное, либо распрощайтесь с политикой и моралью»<sup>49</sup>. Замечая, что «в среднем, богатый человек, вероятно, более счастлив, нежели бедный», он подчеркивает, что использование денег в качестве «представителя» полезности может привести нас «к истине ближе, чем любое другое общее основание, которое можно избрать в данном вопросе»<sup>50</sup>. Деньги обладают еще одним преимуществом: они дают нам своего рода рычаг, когда речь идет о таком сложном вопросе, как интенсивность предпочтений, потому что люди могут продать менее желанные для них вещи, чтобы иметь возможность купить более желанные. Бентам пишет: «Если у меня в кармане крона, и я не склонен мучать себя сомнениями, стоит ли мне купить бутылку кларета для собственного удовольствия или же потратить их на нужды семьи по соседству, отчаянно нуждающейся в любой помощи, в перспективе – тем хуже для меня. Однако очевидно, что пока я продолжаю сомневаться, два чувственных удовольствия, с одной стороны, сочувствие к ближнему – с другой, оценивались мной ровно в пять шиллингов и были для меня совершенно равноценными»<sup>51</sup>.

Фраза «тем хуже для меня» отсылает к сложному вопросу интерперсональных сравнений, к которому мы вскоре перейдем. Пока же остановимся на том, что Бентам видел в деньгах наилучшего «представителя» пользы, способного как служить мерилom удовольствия и боли, так и калибровать системы стимулов с целью воздействовать на человеческое поведение.

*Перевод с английского Е.В.Малаховой*

---

<sup>49</sup> Ibid., p.117.

<sup>50</sup> Bentham, *The Psychology of Economic Man*, p.438.

<sup>51</sup> Bentham, *The Philosophy of Economic Science*, p.117.

*Роберт Парк*

### **Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и перемещения\***

В эволюционной иерархии, какой ее нам изобразил Герберт Спенсер, животные занимают более высокое положение, нежели растения. Но несмотря на весь прогресс, запечатленный в долгом пути, пройденном от амебы до человека, остается бесспорным и то, что в человеческом существе еще довольно много сохраняется от растения. Это проявляется в незаметном прикреплении человека к месту и локальности, в неистребимом и иррациональном стремлении человека (и в особенности женщины) иметь дом, – пещеру, жилище, пристанище – в котором можно жить и произрастать, какую-нибудь безопасную норку или уголок, из которого можно высовываться по утрам и куда возвращаться к ночи.

До тех пор, пока человек так привязан к земле и к местам на земле, до тех пор, пока ностальгия и тоска по дому владеют им и каждый раз возвращают его назад, к хорошо знакомым и любимым местам, он никогда в полной мере не познает другого свойственного человеку стремления – перемещаться свободно и беспрепятственно по поверхности земных вещей и жить, подобно чистому духу, лишь в своем сознании и воображении.

Я говорю об этом единственно потому, что хочу подчеркнуть следующую мысль: наш разум – это частный случай перемещения. Первейшим и наиболее убедительным свидетельством наличия разума является не просто движение, но, как я уже сказал, – перемещение. Растения не перемещаются, не двигаются в пространстве; они более или менее реагируют на стимулы, хотя и не имеют нервной системы, но никак не перемещаются в пространстве, во всяком случае, своим ходом. А если и перемещаются, то не имеют при этом никакой цели, никакого направления, ибо не имеют никакого воображения.

Животные же как раз и отличаются тем, что могут менять свое местоположение. Такая способность предполагает, что они не только могут помахивать хвостом или двигать конечностями, но что они способны координировать и организовывать весь организм в целом для выполнения определенного действия. Разум, как мы его обычно понимаем, является органом контроля. Он не столько инициирует новые движения, сколько координирует импульсы и, тем самым, мобилизует организм для действия; ибо сознание в его субстантивном аспекте есть не что иное, как наша предрасположенность действовать, другими словами – это наши инстинкты и установки.

Деятельность разума начинается на периферии, со стимулов, которые являются предпосылками действия и полностью себя исчерпывают в нем. Но сознание в транзитивном, вербальном аспекте – это процесс, посредством которого мы, как это говорится, "принимаем решения" или меняем их, это процесс, посредством которого мы определяем направление нашего дальнейшего движения и локализуем в воображении цель, которую собираемся преследовать.

Очевидно, что в растениях происходят все те же процессы метаболизма, которые свойственны и животным (это те процессы, которые мы называем вегетативными), но растения никуда не перемещаются. Если бы растения обладали разумом, а некоторые предполагают, что так оно и есть, то это был бы разум созерцательный и вегетативный, подобный разуму тех мистиков, которые, забыв о существовании деятельного мира, полностью поглощены размышлениями над своими внутренними ощущениями. Но для

---

\* R. Park, E. Burgess, R. McKenzie // The City. Univ. of Chicago Press. 1926.

Переводы других статей Р. Парка см. «Социологическое обозрение». 2002. №1. Т.2.

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Перевод с английского Баньковской С.П., 2003

животных, включая их высшие типы (все, что фактически стоит выше устрицы), характерно другое, а именно – они созданы для перемещения и действия. Далее, именно в процессе перемещения, предполагающем смену местоположения и наблюдаемой картины, человечество получило возможность развить как раз те ментальные способности, которые более всего и характерны для человека, а именно – навык и привычку мыслить абстрактно.

В перемещении же возникает и специфический тип организации, который мы называем «социальным». Характерной чертой социального организма, если можно его так назвать, является тот факт, что он состоит из индивидов, способных к независимому перемещению. Если бы общество было, как полагали некоторые, организмом в биологическом смысле, если бы оно состояло из клеток, аккуратно и надежно собранных под оболочкой или кожей, где они все были бы защищены и подконтрольны так, что ни одна клеточка ни коим образом не могла бы иметь свой собственный новый опыт или свои события, то тогда не было бы никакой необходимости наделять людей в обществе разумом. Ибо люди социальны не потому, что они схожи, но потому, что они различны. Их понуждают к действию индивидуальные цели, но, преследуя их, люди осуществляют общую цель. Их импульсы – личные, но их действия – публичные.

В виду всего вышеизложенного, мы можем вполне задаться вопросом, а что происходит с сознанием бродяги. Почему при всем разнообразии своего опыта он так тупо проводит свои дни? Почему, имея столько свободного времени, он не склонен к философствованию? Почему при таком обширном знакомстве с различными местами, людьми, городами, с жизнью в трущобах и на дорогах, он почти не способен расширить наше знание жизни?

Нет нужды даже задумываться над ответом. Рассудок бродяги страдает не от недостатка опыта, но от отсутствия призвания. Бродяга, действительно, всегда в пути, но он движется без определенного направления и никуда не приходит. Охота к перемене мест – самое первое выражение романтического характера и романтического отношения к жизни – становится у него чем-то вроде порочного пристрастия. Он обрел свою свободу, но потерял направление. Перемещение и смена обстановки утратили для него всякое значение. Это перемещение ради перемещения. Беспокойство и стремление бежать от рутины повседневной жизни могут в случае с другими людьми означать начало нового этапа или предприятия, у бродяги же они находят выражение лишь в простом перемещении. Бродяге нужны перемены только ради самих перемен, он к этому привык, и эта привычка, подобно наркомании, замыкает его в порочный круг. Чем больше он странствует, тем больше ему это нужно. Сказать, будто все дело в том, что бродяга – индивидуалист, как это отмечает Нельс Андерсон в своей книге «Бродяга»<sup>1</sup>, значит лишь перефразировать вышеизложенное. Бродяга пожертвовал человеческой потребностью в общении и организации ради романтической страсти к индивидуальной свободе. Общество, несомненно, состоит из независимых, перемещающихся индивидов. Именно этот факт перемещения, как я уже сказал, определяет самую природу общества. Но для поступательного развития общества и для его устойчивости индивиды, его составляющие, должны быть местоположены; это необходимо, прежде всего, для того, чтобы они могли коммуницировать, ибо только посредством коммуникации можно сохранить то подвижное равновесие, которое мы называем обществом.

Все формы ассоциации людей покоятся, в конечном счете, на местоположении и местной ассоциации. Характерные для современного общества специфические средства коммуникации – газета, радио и телефон – это всего лишь приспособления для сохранения этого постоянства локальности и функционирования социальной группы, в сочетании с наиболее возможной мобильностью и свободой ее членов.

Бродяга, начинающий с того, что он порывает все локальные связи, прикрепляющие его к семье, к соседской общине, заканчивает тем, что порывает и все другие ассоциации. Он не просто "бездомный", но человек без всякого смысла и дома. Это лишний раз подчеркивает

---

<sup>1</sup> Имеется в виду книга *Nels Anderson. The Hobo: The Sociology of the Homeless Man. Chicago, 1923*, где было представлено исследование городского района, в котором обитают бездомные. – *Прим. перев.*

всю бесполезность попыток, предпринимаемых людьми, вроде Джеймса Идса<sup>2</sup>, собрать бродяг в собственные ассоциации в различных частях страны, где они смогли бы встречаться, обмениваться опытом, обсуждать свои проблемы и любые общественные проблемы, создать такие места, где они могли бы организовать что-то вроде корпоративного существования и общаться с остальным миром на основе равноправных отношений и надеяться на понимание.

Нечто подобное можно было бы сказать и о Промышленных рабочих мира<sup>3</sup> – единственной рабочей организации, которая постоянно стремится организовать неподдающийся организации элемент среди рабочих, а именно – сезонных и случайных работников (и это ей до определенной степени удается). Основные их усилия, предпринимаемые для организации бродяг в их же интересах были направлены (до тех пор, пока были успешными) на то, чтобы дать бродягам самое для них необходимое – групповое сознание, смысл существования и признанное положение в обществе.

И если в целом их постигла неудача, то это отчасти произошло из-за того, что большая часть современного промышленного производства организована так, что оно неизбежно стремится к увеличению доли временных работников. Отчасти же это происходит из-за того, что бродяга, будучи своеобразным типом, находит во временной, сезонной, работе тот род занятий, который наилучшим образом соответствует его характеру, поскольку среди обычных рабочих его можно считать божественным типом. У него артистический темперамент. Помимо неизбежного труда своих рук, единственным важным вкладом бродяги в постоянный общий фонд нашего опыта, который мы называем культурой, является его поэзия. Примечательно, однако, и то, что некоторые наилучшие образцы этой поэзии были созданы в тюрьме. Во время этой вынужденной спокойной оседлости, лишенный возможности перемещаться, бродяга изливает свою обычную беспокойность в песнях, песнях протеста, в призывных гимнах Промышленных рабочих мира, в трагических маленьких балладах, воспевающих тяготы и невзгоды жизни на долгом, томительном пути.

Среди бродяг было много поэтов. Наиболее именитый из них – Уолт Уитмен – выразил всю беспокойность, мятежность и индивидуализм бродяжьей души не только в содержании своих стихов, но и в самой их бесформенности.

Чем, по-вашему, можно насытить душу, кроме свободы ходить где угодно и никому не повиноваться?<sup>4</sup>

Ничто не может лучше выразить дух старого фронта, который более чем какая-либо другая черта американской жизни, послужил формированию американских институтов и американских нравов. Бродяга, по сути, – это задержавшийся пионер фронта, задержавшийся в том времени и в том месте, где и когда фронт уходит в прошлое или уже больше не существует.

*Перевод с английского С.П. Баньковской*

---

<sup>2</sup> Джеймс Бьюкенан Идс (*James Buchanan Eads*) – 1820-1887 – американский инженер-самоучка, прославившийся постройкой трех арочного стального моста через Миссисипи, названного его именем. Мост соединил восточный Сент-Луис в Иллинойсе с Сент-Луисом в Миссури и был открыт в 1874 г. – *Прим. перев.*

<sup>3</sup> Промышленные рабочие мира (*Industrial Workers of the World (IWW)*) – созданная в 1905 г. и поныне существующая рабочая организация, ставящая своей целью объединение всех промышленных рабочих, всех отраслей промышленности, «а также безработных, пенсионеров, домохозяек и студентов». IWW противопоставляет себя бюрократизированным профсоюзным организациям и стоит на том, что «между рабочим классом и классом работодателей не может быть ничего общего», «классовая борьба должна продолжаться до полного уничтожения системы наемного труда» и т.п. Издает свой печатный орган "Хлеб и розы" («Bread & Roses»). – *Прим. переводчика.*

<sup>4</sup> Строчка из стихотворения Уолта Уитмена «Законы творения» из цикла «Осенние ручьи».

## РЕФЕРАТЫ

*Маркова Ю.В.<sup>1</sup>*

П. Бурдьё Пьер. Наука о науке и рефлексивность. Курс в Коллеж де Франс в 2000-2001 годах.

Bourdieu Pierre. Science de la science et réflexivité. Cours de Collège de France 2000-2001. Paris: Raisons d’agir, 2001. –239 p.

Пьер П. Бурдьё начинает книгу с вопросов: «Зачем мне понадобилось брать науку в качестве объекта для своего последнего курса лекций? Почему я все-таки решился их опубликовать, несмотря на все их несовершенство?». И далее объясняет причину, по которой тема лекций актуальна. «... Наука находится под угрозой опасного регресса. Автономия, которую науке удалось постепенно завоевать по отношению к религиозной, политической, экономической власти и даже частично к власти государственной бюрократии, гарантирующей ей минимальные условия независимости, ныне очень слаба. Социальные механизмы, формировавшиеся по мере того, как она утверждалась как конкуренция между равными, рискуют оказаться на службе целей, навязанных извне; подчинение экономическим интересам и соблазнам масс-медиа входит в опасный резонанс с внешней критикой и внутренней дискредитацией, где “постмодернистский” бред является последним аргументом, способным подорвать доверие к науке, особенно, социальной. Словом, наука в опасности, и в силу этого сама становится опасной» (р.6).

Экономическое давление, оказываемое на представителей как точных, так и социальных наук, менее заметно во втором случае, хотя «в действительности, специалисты в этих областях знания, и, в частности, социологи, являются объектом очень внимательной опеки. Для одних — тех, кто соглашается обслуживать господствующую точку зрения, просто не замечая многих вещей (и здесь достаточен низкий уровень профессионализма), такая опека носит позитивный характер, что выражается в хорошей материальной и символической оплате, для других— тех, кто просто делаю свое дело, способствует тому, чтобы хоть немного раскрыть истину социального мира, оказывается негативной и недоброжелательной, а иногда разрушительной» (р.7).

Именно угроза для автономии науки заставляет Бурдьё «подвергнуть ее социологическому и историческому анализу». При этом он «не стремится релятивизировать научное знание, сводя его к историческим условиям (т. е. к конкретным историческим обстоятельствам), а предполагает совсем обратное: дать возможность тем, кто занимается наукой, лучше понять социальные механизмы, направляющие научную практику, и стать “хозяевами и владельцами” не только “природы”, согласно старой картезианской максиме, но, что не менее трудно, социального мира, в котором производится знание о природе» (р.8).

Таким образом, эта книга, как и другие работы Бурдьё последних лет<sup>2</sup>, преследует как научные, так и политические цели. Речь идет о том, чтобы предоставить исследователям, и не только им, инструменты самообороны от символического насилия, которому они подвергаются, способствовать тому, чтобы наука и другие виды символического

<sup>1</sup> *Маркова Юлия Владимировна* — научный сотрудник Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН.

<sup>2</sup> Например, П. Бурдьё. «О телевидении и журналистике» /Пер. с фр. Т.В. Анисимовой, Ю.В. Марковой. Отв. ред. и предисл. Н.А. Шматко. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002.

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Маркова Ю.В., 2003

производства, будь то телевидение или искусство, служили освобождению и прогрессу, а не легитимации господствующего порядка. И это не случайно, поскольку «социология — боевое искусство»<sup>3</sup>.

Почему, с точки зрения Бурдьё, автономия научного производства играет важную роль для теоретического анализа науки и ее практического развития? Как она связана со способностью науки производить истину? Чтобы объяснить значение автономии, Бурдьё отвечает на вопрос: «каким образом такая историческая деятельность, как научная, производит внеисторические истины; истины, независимые от истории, разорвавшие все связи с местом и временем своего появления, т. е. действующие вечно и в любых обстоятельствах?» (р.10). Этот кантианский вопрос автор переводит в плоскость социологии, заменяя кантовское *a priori* социальными условиями, а затем показывает, как «процесс историзации кантовских вопросов» приводит к «научной объективации субъекта объективации».

Книга состоит из одиннадцати глав. В первой («Состояние дискуссии») предпринят исторический обзор основных концепций науки. По мнению Бурдьё, пространство дискуссий о науке представлено несколькими основными позициями. Это структурный функционализм Р. Мертона («очарованное видение науки»), парадигмальный подход Т. Куна («нормальная наука и научные революции»), «сильная программа» Д. Блура, исследование лабораторий в духе К. Кнорр-Цетины и новая социология науки Б. Латюра и С. Уолгара («хорошо скрываемый секрет Полишинеля»).

Говоря о социологии науки как об особой области исследований, Бурдьё указывает на ряд ее специфических характеристик:

1. Поскольку социология науки обращается к предельным вопросам, она очень зависима от философии.

2. От текстов в этой области требуется меньше эмпирического материала, и последний часто сводится к изучению других текстов, которые, в свою очередь, состоят из «теоретических» дискуссий.

3. В этой области, где все социологи являются философами, а философы — социологами, очень не высоки требования к строгости доказательства. Здесь «можно экономить на действительном разрыве с философией и всеми теми социальными выгодами, которые дает факт называться философом на некоторых интеллектуальных рынках; разрыве долгим и дорогостоящим, предполагающим трудное освоение технических инструментов и множество неблагоприятных инвестиций в практики, считающиеся низкими или неблагоприятными» (р.66).

Во второй главе («Особый мир») Бурдьё излагает свой подход к анализу науки как поля. Третья глава («Почему социальные науки должны брать себя в качестве объекта исследования?») посвящена социоанализу и концепции поля применительно к изучению состояния социальных наук и к собственной траектории Бурдьё в рамках пространства социальных наук («Наброски к самоанализу»).

### **Автономия и истина**

В своих рассуждениях Бурдьё часто указывает на сложность социологического анализа. При этом одним из наиболее сложных объектов выступает для него наука (может быть, потому, что это слишком сильно затрагивает его самого). С его точки зрения, она является одной из наиболее легитимных и высоких ставок в социальных дисциплинах. Бурдьё начинает с перечисления трудностей, с которыми сталкивается тот, кто берется изучать науку:

1. Социология науки — очень развитая область. Весь относящийся к ней массив литературы трудно обозреть, хотя все же можно выделить несколько основных направлений, которые в обобщенном виде представляют пространство различных позиций.

---

<sup>3</sup> В 2001 г. вышел фильм о П. Бурдьё и его социологии, снятый скандально известным режиссером Пьером Карлом, который называется «Sociologie est un sport de combat» (Социология — это боевое искусство).



2. Эту трудность особенно ощущают те, кто не является узким специалистом в данной области. В то же время она свидетельствует о существовании двух принципиальных направлений при выборе стратегии научных инвестиций — интенсивного и экстенсивного, приводящих к формированию либо широких, либо узких специалистов. Однако возможно их совмещение, к чему всегда прибегал сам Бурдье за счет «повышения отдачи от использования моделей, например, модели поля, что позволяет использовать общие наработки в каждом конкретном исследовании и видеть общие черты, избегая эффекта гетто, которому подвержены исследователи, зажатые в рамки узких специальностей» (р.17).

3. Следующий важный момент заключается в том, что, анализируя науку, необходимо понять сложный вид практики, которой можно овладеть только в ходе долгого обучения. Поэтому возникает проблема: «как объединить очень развитую научную техническую компетенцию исследователя, находящегося на переднем рубеже науки, у которого нет времени на самоанализ, и аналитическую компетенцию, тоже очень развитую, связанную с диспозициями, необходимыми для того, чтобы она служила социологическому анализу научной практики» (р.18). Такие качества редко сочетаются в одном человеке, в связи с чем решение проблемы может быть только коллективным. Иначе говоря, должны быть условия, при которых представители разных наук будут заинтересованы работать вместе: «Мы видим, что это из разряда утопии, поэтому оказывается, как это часто бывает в социальных науках, что факторы, препятствующие прогрессу науки, являются по преимуществу социальными» (р.18).

4. Еще один фактор, затрудняющий анализ науки, состоит в том, что для исследователей очень важны документы и дискурс ученых о своих научных практиках, который, в свою очередь, зависит от философии науки определенного периода. В силу этого ученые могут описывать свои практики неадекватно, сквозь призму принятой ими философии науки, что очень трудно учесть в конкретном исследовании.

5. Последняя неустранимая трудность в том, что «наука и особенно научная легитимность и легитимное использование науки в каждый момент времени являются ставкой в борьбе как в социальном мире, так и внутри самой науки. Отсюда то, что мы называем эпистемологией, всегда рискует оказаться всего лишь формой *дискурса, оправдывающего науку* или позицию в научном поле, или, более того, ложно нейтральным повторением доминирующего дискурса науки» (р.19).

Все эти факторы влияют на социологический анализ науки, и, следовательно, аналитический аппарат социологии должен быть построен с учетом упомянутых трудностей. Многие из них при других подходах игнорируются. Например, структурные функционалисты мыслят научный мир как «сообщество», наделенное справедливыми и легитимными институтами регуляции, в котором нет борьбы, по крайней мере, по поводу ставок борьбы. Поэтому Р. Мертон и его сторонники, пользующиеся понятием «признание», исходят из того, что «статистическое исследование предназначено для проверки того, что распределение *наград* (rewards) было совершенно справедливым» (р.28), а не для того, чтобы понять, как устроена наука. Те же, кто, как К. Кнорр-Цетина или Б. Латур раскрывает двойственность научных практик (нейтральный и формальный язык описания исследований и признание на неформальном уровне роли интуиции, неопределенности научного поиска и т. п.) и делает из этого вывод о циничности исследователей и исторической условности результатов науки, забывают: истина не в том, что ученые говорят между собой одно, а пишут и публично представляют другое, а в том, что эти два уровня сосуществуют и обуславливают друг друга.

### **Понятие поля. Структура поля и ее изменение**

Определяющим для собственного подхода Бурдье к анализу науки является то, что он мыслит ее как поле, т.е. как *специфическое место социального пространства*. В нем происходит борьба за монополию на научную легитимность (легитимное производство

«истины»<sup>4</sup>). Понятие поля означает, во-первых, что при анализе науки внимание направлено не на внешние наблюдаемые феномены (взаимодействия, индивиды), как это делают большинство исследователей и особенно те, кто изучают лаборатории (К. Кнорр-Цетина), а на ненаблюдаемые структуры, «которые направляют научные практики и чье воздействие проявляется на микросоциологическом уровне» (р.67). Во-вторых, это означает разрыв с наивным финализмом при интерпретации практики, согласно которым «агенты, в частном случае — исследователи, — выступают рациональными калькуляторами, стремящимися не к истине, а к получению социальной прибыли» (р.69). Понятие поля предполагает принятие реляционной точки зрения на социальный мир и диспозиционной теории действия. В-третьих, поле как *место* социального пространства означает, что наука относительно автономна от общего социального пространства или других мест, которые можно в нем выделить (политика, экономика, искусство). Поэтому правомерно говорить о ее специфических границах, праве входа и возможности выхода. И, в-четвертых, наука обладает своей спецификой, в то же время и частично наследует некоторые свойства общего социального пространства (специфические ставки и особый вид ресурсов, действующих в поле). «Одно из достоинств понятия поля в том, чтобы одновременно дать общие принципы понимания социальных феноменов, имеющих форму поля, и заставить задать вопросы относительно той специфической формы, которую принимают эти общие принципы в каждом конкретном случае» (р.71).

*Научное поле* есть «поле сил, наделенное структурой, и одновременно поле борьбы за сохранение или изменение этого поля <...> Агенты, отдельные ученые, группы или лаборатории, находясь в отношениях друг с другом, создают пространство, которое их детерминирует, несмотря на то, что оно существует лишь благодаря этим агентам <...> Именно отношения между различными агентами... порождают поле и отношения силы, которые его характеризуют...» (р. 69).

В научном поле существует особый вид капитала, который Бурдьё называет научным. Это «специфический вид символического капитала, основанного на знании и признании. Будучи властью, функционирующей как вид кредита, он предполагает доверие и веру со стороны тех, кто ему подчиняется, поскольку они к этому предрасположены (благодаря образованию и включенности в поле)» (р. 70).

Структура распределения капитала определяет структуру поля, т. е. отношения силы между агентами: «Структура поля, определяемая неравномерным распределением капитала, т. е. специфического оружия и преимуществ, оказывает давление — вне любого прямого взаимодействия, вмешательства или манипулирования — на весь ансамбль агентов, более или менее сужая пространство открытых им возможностей, в соответствии с тем, как они расположены в поле, т. е. в этом распределении капиталов» (р. 71).

В поле могут быть разные деления, но основным остается различие между доминирующими и доминируемыми. «Доминирующим является тот, кто занимает в структуре такое место, что она работает на него» (р. 71). Доминирующие навязывают, часто ничего для этого не делая, представление о науке, наиболее благоприятное для их интересов. Они получают преимущество еще и потому, что являются обязательными для цитирования, а доминируемые просто обязаны, активно или пассивно, занять в отношении них какую-нибудь позицию. Доминируемые находятся в постоянной опасности и могут сохранять свою позицию только посредством постоянных инноваций. Действительные трансформации поля происходят не только и не столько по причине невозможности решить оставшиеся «головоломки» (Т. Кун), сколько, как в экономике, в результате изменения границ между полями, связанного с вторжением новичков, наделенных новыми ресурсами. «Это объясняет тот факт, что границы поля почти всегда являются ставками борьбы внутри поля» (р. 74).

---

<sup>4</sup> Впервые свою точку зрения на науку как поле П. Бурдьё излагает в статье «La spécificité du champ scientifique et les conditions sociale du progrès de la raison» // Sociologie et Sociétés. № 7(1). 1975. P. 91-118. На русском языке см. [«Поле науки»](#).

Почему, с точки зрения Бурдье, необходимо объективировать структуру поля? «Потому что, конструируя объективную структуру распределения свойств, приписываемых индивидам или институтам, мы получаем инструмент предсказания возможного поведения агентов, занимающих различные позиции в этом распределении <...> Пространство позиций управляет (в терминах вероятностей) гомологичным пространством точек зрения, т. е. стратегиями и интеракциями. Это позволяет избежать различия между изучением ученых и изучением научных произведений. Знание профессиональных интересов (связанных с позицией и диспозициями), определяющих предпочтения, может объяснить выбор между несколькими возможностями» (р. 117). Это отношение между пространством позиций и пространством точек зрения не является механическим, связь между ними осуществляется с помощью посредника — габитуса самих ученых.

*Второй важный аспект* понятия поля состоит в том, что наука — это пространство борьбы за сохранение/изменение структуры данного пространства (распределения капитала). Практики, реализуемые агентами в поле, зависят от их позиции в структуре распределения научного капитала. «Каждое научное действие (как и любая практика) является продуктом встречи двух историй: истории, инкорпорированной в виде диспозиций, и истории объективированной в самой структуре поля и технических объектах (инструментах), текстах и т. д. Специфика научного поля частично определяется длительной исторической традицией благодаря “консервации” достижений в очень экономичной форме, например, редактирование, формулы или набор долго накапливаемых жестов и рутинизированных способностей» (р. 73).

Подобно тому, как структура научного поля имеет свою специфику и зависит (хотя и не абсолютно) от распределения научного капитала, создающего специфику этого поля, борьба за сохранение/изменение структуры последнего обладает особыми свойствами. Специфика борьбы в научном поле определяется легитимным для этого пространства способом урегулирования конфликтов, каким является *спор*, опирающийся на логические аргументы (правило непротиворечивости и т. п.), и апелляция к «реальности», в пределе имеющая форму эксперимента. Тем не менее наличие такого специфического способа урегулирования конфликтов еще не означает, что он является единственным. Поэтому одним из важных моментов при разрешении научных споров оказывается борьба за сам способ их урегулирования, когда сталкиваются научный (аргументация) и ненаучный (политическое и административное влияние) способы их решения.

Итак, понятие поля объединяет представления о структуре (это двойственная структура распределения объективных ресурсов и субъективных точек зрения) и о борьбе за эту структуру (она не является неизменной и навязанной агентам некоторой «природой вещей», принципиально отличной от них самих). Поэтому данное понятие позволяет изучать одновременно как статические, так и динамические аспекты науки как объекта исследования. К тому же оно функционирует одновременно и как программа исследования. «Теория поля, ориентирующая и направляющая эмпирическое исследование, заставляет поставить вопрос о том, в чем состоит игра <...> каковы ставки, желаемые товары и свойства, как они распределяются <...> Понятие поля — система вопросов, которые в каждом исследовании принимают специфическую форму» (р.72). Поле является реляционным понятием, позволяющим избежать ошибок, вызванных традиционными оппозициями (рациональный/нерациональный, сознательный/бессознательный, корыстный/бескорыстный и т. д.). Как верно замечает Бурдье, «социальная наука сложна тем, что ошибки существуют в ней как пары комплиментарных позиций. Мы избегаем одной ошибки, чтобы впасть в другую» (р. 79).

### **Научный капитал**

Научный капитал формируется как специфическое сочетание символического и культурного капиталов. Бурдье определяет символический капитал как «ансамбль дифференцирующих характеристик, которые существуют в и посредством их восприятия

агентами, наделенными адекватными категориями восприятия, которые, в свою очередь, усваиваются в ходе нахождения в структуре распределения этого капитала...» (р. 110). «Отношения силы в науке — это отношения силы, осуществляющиеся благодаря знакомству и общению. Символическая власть научного типа действует только на агентов, обладающих категориями, необходимыми для того, чтобы ее узнать и признать. Это парадоксальная власть, которая предполагает “соучастие” того, кто ей подчиняется» (р. 110). В качестве специфической формы символического капитала научный капитал представляет собой:

1. Ансамбль свойств, произведенных актами познания и признания, которые реализованы агентами, ангажированными в научное поле в соответствии с его специфическими нормами;

2. Результат различающего восприятия, доступного только обладателям определенного объема инкорпорированного культурного капитала;

3. Продукт признания со стороны конкурентов (акт признания тем важнее, чем большим признанием обладает тот, кто его дарует);

4. Результат признания равных, в отличие от политического капитала, который возникает благодаря признанию масс;

5. Разновидность символического капитала, имеющего стоимость в границах поля (поскольку зависит от способности агентов его воспринимать и ценить).

Научный капитал может быть собственно научным, получаемым как признание за открытия, изобретения, решение научных проблем и т. п., и административным, возникающим за счет контроля над социальными ресурсами поля (посты, финансирование, участие в комиссиях и т. п.). Это раздвоение связано с тем, что автономность поля всегда относительна. Оно же выступает условием сосуществования двух типов иерархии в науке, что создает одно из основных напряжений поля<sup>5</sup>.

Вместе с тем научный капитал выступает еще и специфическим видом культурного капитала в его объективированной (оборудование, инструменты и т. п.) и инкорпорированной (знания, умения) формах.

### Научный габитус

Сильная зависимость научного капитала от субъективных структур того, кто его воспринимает, позволяет уяснить, почему в науке такую важную роль играет научный габитус, понимаемый как система диспозиций, благодаря которой агенты адекватно воспринимают события научного поля и действуют в нем разумным образом.

«Понятие габитуса может быть особенно полезно, когда речь идет о понимании научного поля, где *схоластическая иллюзия* навязывается с особой силой» (р. 77). Она предполагает, что «агенты действуют в соответствии со своими сознательными намерениями и расчетами согласно сознательно выработанным методам и программам» (р. 78). Подобный подход «устанавливает в качестве истины научной практики ее норму, выведенную *ex post* из уже ставшей научной практики, или, другими словами, она стремится вывести логику практики из продуктов, которые логически соответствуют практическому смыслу поля» (р. 78). Следовать идее габитуса — «значит, рассматривать в качестве основания научных практик не познающее сознание, действующее в соответствии с явными нормами экспериментальной логики и метода, но “ремесло”, т. е. практический смысл, признаваемый за изучаемыми проблемами, принятыми способами анализа и др.» (р. 78).

Рациональный анализ практики затруднен тем, что к ней часто обращаются, чтобы дискредитировать разум. Это «осложняет собирание инструментов, необходимых для того, чтобы размышлять о практике» (р. 79). Проблема в том, что «практика постоянно

---

<sup>5</sup> Подробно о двух видах капиталов см. Bourdieu P., «Homo academicus», Paris, Eds. de Minuit, 1984. На русском языке более подробное изложение этой идеи можно найти в П. Бурдьё, «Клиническая социология поля науки»/Пер. с фр. Ю.В. Марковой // «Социологический анализ Пьера П. Бурдьё», Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001.

недооценивается и недоанализируется, хотя для ее понимания требуется задействовать большой объем теоретических знаний, значительно больший, как это ни парадоксально, чем для понимания теории. Необходимо избегать сведения практик к тем представлениям, которые мы о них имеем, когда у нас нет ничего, кроме логического опыта» (р. 81).

Научное поле в некоторых своих проявлениях схоже с художественным, хотя это сравнение имеет свои ограничения. «Научное поле, как и другие поля, — это место практических логик, но с тем ограничением, что научный габитус есть реализованная и инкорпорированная теория. Научная практика имеет все свойства, признаваемые за наиболее практическими практиками, например, спортивными или художественными. Но это не мешает ей быть одновременно высшей формой теоретического разума. Пародируя язык Гегеля, рассуждающего о морали, можно сказать, что это “ставшее теоретическое сознание”, т. е. инкорпорированное и ставшее практикой» (р. 82).

Специфика ремесла ученого связана с тем, что обучение состоит в усвоении чрезвычайно сложных теоретических структур, причем, чтобы быть успешным, это усвоение должно реализовываться на двух уровнях: теоретическом и практическом. Необходимо не только усвоение теоретического знания, но и практическое владение им, «чтобы знание реально переходило в практики в форме ремесла <...> и не оставалось в состоянии метадискурса по поводу практик» (р. 82).

«Искусство» ученого отличают от «искусства» художника два важных свойства:

1. В науке большую роль играет практически усвоенное и освоенное формализованное знание (формулы, понятия и т. п.): «Математик двадцати лет в некотором смысле может иметь в голове 20 веков математики, поскольку формализация позволяет усвоить в виде логических автоматизмов, ставших автоматизмами практическими, накопленные продукты неавтоматических изобретений» (р. 83).

2. Большую роль играет также умение обращаться с научными инструментами, которые представляют собой «объективированные и концентрированные в аппарате научные понятия» (р. 83).

Иными словами, ученый — «это научное поле, ставшее человеком, чьи когнитивные структуры гомологичны структурам поля и благодаря этому постоянно подогнаны под ожидания, вписанные в поле. Эти правила и регулярности, которые... определяют поведение ученого, существуют как таковые, т. е. как эффективные структуры, способные ориентировать практику ученых в направлении, соответствующем правилам научности, только потому, что они воспринимаются учеными, наделенными габитусом, который их делает способными [эти правила и регулярности] воспринимать и оценивать, и одновременно предрасположенными использовать. Словом, [правила и регулярности] детерминируют ученых только потому, что они сами определяют себя через акт познания и признания, который дает им главную силу. Ученые так настроены (с точки зрения специфической социализации), что они чувствительны к этим указаниям и готовы ответить на них разумным образом» (р. 84).

### **Научная борьба**

Поле науки имеет свои специфические ставки и способы урегулирования возникающих по их поводу конфликтов. Здесь ведется борьба за то, чтобы заставить признать определенные способы познания объектов и существование самих этих объектов. «Доминирующими являются те, кто сумеет навязать такое определение науки, в соответствии с которым наиболее правильное занятие наукой состоит в том, чтобы иметь, быть и делать то, что они сами имеют, чем являются, и что они делают <...> В науке мы сталкиваемся с антиномией легитимности: в поле науки, как и в других местах, не существует инстанции, легитимирующей инстанции легитимации» (р. 126).

Специфические научные ставки (определение ставок научной игры и монополия на производство «истины») предопределяют способы урегулирования конфликтов в научном поле.

Во-первых, стремление к монополии на научное представление «реальности» (или того, что исследователи в ходе своих столкновений неявно принимают в качестве таковой) приводит к возникновению особого рода цензуры. Логика науки предполагает обращение к «логической необходимости» и «логической непротиворечивости», что не обязательно является свойством других социальных пространств (например, поля политики или художественного поля). «Научные поля — это пространства, где символические отношения силы и борьба интересов, которую они стимулируют, способствуют признанию решающего аргумента» (р. 161).

Во-вторых, такая специфическая цензура влечет за собой консервацию накопленных ресурсов поля (инструменты, теории и т. п.) и посредством этого — формирование и постепенное повышение порога вхождения и тем самым замыкание поля на себя. «Тот факт, что производители стремятся иметь в качестве клиентов только своих собственных конкурентов, одновременно наиболее строгих и сильных, наиболее компетентных и критичных, т. е. наиболее предрасположенных и способных приложить усилия к критике, является для меня той архимедовой точкой, на которую можно опереться, чтобы научно обосновать научный разум, выдернув его из релятивистского редукционизма и объяснить, избавившись от необходимости обращаться к какому-либо чуду, как возможен бесконечный прогресс науки к большей рациональности <...> Замыкание на себя автономного поля является историческим принципом генезиса разума и реализации его нормативности» (р. 108). Поле науки — это социальное пространство, «где устанавливается согласие по поводу истины» и которое находится «во власти социальных ограничений, стимулирующих рациональный обмен и заставляющих подчиниться такому механизму универсализации, как взаимный контроль. Это пространство, где эмпирические законы функционирования, управляющие взаимодействием, подразумевают использование логического контроля и где символические отношения силы принимают совершенно необычную форму, когда в кои-то веки внутренняя сила истинной идеи может черпать силу в логике конкуренции» (р. 162).

В-третьих, ученые как конкуренты за монополию на легитимное представление «реальности» «обладают огромным коллективным аппаратом теоретического конструирования, верификации и эмпирической фальсификации, владение которым требуется от всех участников соревнования» (р. 140). Это означает, что изменения в науке предполагают сохранение предыдущих достижений и доступны для тех, кто сумеет стать специфическим капиталистом, т. е. усвоит все достижения традиции.

### **Автономное поле как условие производства истины**

Истина, производимая наукой, может претендовать на универсальность и часто с успехом этого добивается, потому что:

1. Агенты этого поля настроены на создание логичных и непротиворечивых систем представлений;
2. Они разработали и активно используют сложные методы верификации и фальсификации получаемых результатов;
3. Их результаты проходят проверку «реальностью»;
4. Признание результатов зависит не только от производителей, но и от потребителей (других ученых);
5. Потребители — те, кто признает некоторую систему представлений в качестве истины — часто менее всего заинтересованы в том, чтобы ее признать, поэтому подвергают ее максимальной критике;
6. Эти агенты наиболее компетентны, чтобы осуществить такую критику;
7. Агенты поля принимают в качестве способа урегулирования конфликтов рациональный спор и соглашаются подчиниться силе решающего аргумента;
8. «Истина» науки есть результат коллективных, а не индивидуальных усилий.

Все это возможно лишь при существовании специфического социального пространства (относительно автономного поля науки), где культивируются такого рода

навыки, где достаточно ресурсов (экономических и культурных), чтобы агенты могли существовать, а системы представлений могли проверяться и критиковаться и где агенты обладают таким габитусом, что воспринимают эту деятельность как заслуживающую усилий и видят в ней смысл, а также согласны урегулировать взаимные конфликты, обращаясь к логическим аргументам и ориентируясь на мнение равных.

Бурдые демонстрирует, как в процессе истории формировались конститутивные элементы научного поля. Например, он отмечает, что формирование науки происходит параллельно с формированием новой веры. Вера в науку производится путем переноса понятий «честь» и «доверие» из обихода английских джентльменов в публичную сферу. Другим важным моментом формирования научного поля оказывается математизация.

Действительным субъектом науки является не отдельный агент, а само поле. Объективность научных истин — не результат личной добродетели, а социальный продукт поля, результирующая соотношения сил противников, стремящихся урегулировать конфликт с помощью логических аргументов и ищущих легитимные для данного социального пространства способы «одолеть» противника (предвосхищение аргументов и проверка реальностью). Относительно автономное поле есть практический механизм перевода импровизированных и случайных представлений в постоянные и вневременные истины. Отсюда следует, что угроза автономии научного поля — это угроза возможности производства истины, поскольку разрушается сложный и тонкий социальный механизм перевода субъективного и случайного в объективное и необходимое.

### **Социоанализ как условие прогресса разума и автономии социальных наук (практическая рефлексия)**

Социальные науки — такие же науки, как и другие, но на пути к автономии они сталкиваются с бóльшими трудностями, чем все остальные. Почему так происходит?

Социальным наукам сложно завоевать автономию как минимум по четырем причинам. Во-первых, они «занимаются слишком важным объектом (он интересует всех, начиная с властей предрержащих), слишком жгучим, чтобы можно было оставить его в их полном распоряжении и предоставить его их собственным законам. Он слишком важен с точки зрения социальной жизни, социального и символического порядка, чтобы социальным наукам была предоставлена такая же автономия и монополия на производство истины, как другим наукам. Каждый считает себя вправе братья за социологию и вступать в борьбу за легитимное видение социального мира, в которую включается и социолог, но с очень специфическим намерением, Это намерение: говорить истину или, хуже того, определять условия, в которых возможно говорить истину, мы спокойно признаем за любым другим ученым, но применительно к социологу оно кажется чудовищным» (р. 170).

Во-вторых, из-за слабой автономии внутри поля социальных наук сталкиваются агенты, среди которых одни более автономны, другие менее. А в слабо автономном поле недостаточно автономные агенты имеют больше шансов на успех, чем те, кто стремится к большей автономии. Это связано с тем, что первые в большей степени подчиняются внешним требованиям и имеют больше шансов на успех благодаря признанию широкой аудитории.

В-третьих, социальные науки занимаются объектами «второго порядка», т. е. социальными конструкциями социальных конструкций. Известно, что одним из арбитров в научных спорах выступает сконструированная «реальность». В случае социальных наук «реальность» уже сама есть конструкт, причем это одновременно продукт предыдущей борьбы и ставка в борьбе настоящей. Очевидно, что такой объект не может быть надежным ориентиром при разрешении споров. Но для повышения надежности результатов социологии можно в социологическом методе связать «конструктивистское видение науки и конструктивистское видение объекта этой науки» (р. 172).

В-четвертых, сам социолог является частью того мира, который анализирует. Габитус ученого есть поле, ставшее человеком, «историческое трансцендентальное» поля науки.

Применительно к социологии объективация габитуса ученого — дело еще более трудное, поскольку это затрагивает не только его научные, но социальные и политические диспозиции. Потому многие «истины» социального мира не просто не известны, но агенты, особенно представители доминирующих позиций, не хотят их знать. По всем этим причинам социология не может ожидать такого же признания и автономии, как другие науки, и «обречена быть предметом спора» (р. 173).

В ситуации слабой автономии рефлексивность, «понимаемая как работа, посредством которой социальная наука, берущая себя в качестве объекта, пользуется своим собственным оружием, чтобы понять и контролировать себя, — особенно эффективное средство, способное увеличить ее шансы достигнуть истины, усиливая взаимную цензуру и давая основания для технической критики» (р. 174). Иначе говоря, благодаря рефлексии социология может найти в себе ресурсы, которые сделают ее менее чувствительной к социальным принуждениям, навязываемым социальным пространством.

Практическая рефлексия означает перевод рефлексивности из логической задачи в диспозицию, составляющую научный габитус. Речь идет о том, чтобы перевести логический прием в «рефлекс рефлексивности, способный действовать не *ex post*, т. е. на продукт действия (*opus operatum*), но *a priori*, т. е. на способ действия (*modus operandi*)» (р. 174). При этом необходимо различать нарциссическую рефлексивность *à la* Гарфинкель и реформистскую рефлексивность в стиле Бурдье. Первая обращает внимание на то, что научная работа скорее конструирующая, чем описывающая. Но такое заключение «может потревожить разве что статистиков в их позитивистской вере в получаемые таксономии» (р. 175). Реальный анализ начинается тогда, когда от описания конструирования объекта переходят к вопросу об условиях конструирования, где одним из определяющих моментов является сам исследователь. Другое важное свойство реформистской рефлексии заключается в том, что она не может быть делом одного агента. Если важнейший момент рефлексии — взаимная критика, то очевидно, что такая диспозиция по определению затрагивает всю группу. Именно эти особенности практической рефлексии делают ее одним из условий усиления автономии социологии как поля, т. е. прогресса научного разума.

Итак, согласно Бурдье, рефлексия предполагает объективацию не пережитого субъектом опыта, а объективацию социальных условий, которые сделали его возможным. Для этого необходимо научиться контролировать:

1. Субъективное отношение к объекту, которое, оставаясь необъективированным и направляя выбор объекта, метода и т. п., оказывается источником самых серьезных ошибок;
2. Социальные условия производства этого отношения к объекту.

Работа по объективации должна вестись на трех уровнях:

1. Объективация позиции агента в общем социальном пространстве — наиболее заметный и потому наименее опасный фактор;
2. Объективация позиции агента в профессиональном поле;
3. Объективация всего того, что связано с принадлежностью к схоластическому универсуму, при этом особое внимание следует уделять иллюзии отсутствия иллюзии и интереса.

Поскольку практическая саморефлексия исследователя должна сопровождать каждое исследование и все его этапы, то, очевидно, что «социология социологии не является некоторым направлением социологии подобно всем остальным» и «должна постоянно присутствовать в социологической практике» (р. 220).

### **Наброски к самоанализу**

Предваряя самоанализ, Бурдье говорит, что это только попытка, только точка отсчета, что «социология объекта, каким являюсь я сам, объективация его точки зрения — дело заведомо коллективное» (р. 184). «Я знаю, что захвачен и включен в мир, который беру в качестве объекта. Я не мог бы как ученый занять позицию по отношению к борьбе за истину социального мира, не зная, что я это делаю, что единственной истиной является то, что



истина служит ставкой как в научном (поле социологии), так и в социальном мире, который ученый берет в качестве объекта <...> и по отношению к которому он ведет борьбу за истину. Говоря это и защищая практику рефлексии, я также осознаю, что даю другим инструменты, которые они могут использовать для объективации меня самого, но, действуя таким образом, они доказывают верность моего подхода (*ils me donnent raison*)» (р. 221). Этот анализ нельзя назвать исповедью, потому что Бурдьё стремится описать свою траекторию и позицию в рамках поля и раскрыть в первую очередь безличные структуры, хотя в таком анализе нельзя обойтись без конкретных биографических событий.

Проводя самоанализ, Бурдьё делает акцент на трех принципиальных моментах. Во-первых, на своей позиции в университетском мире к моменту окончания им Высшей нормальной школы, во-вторых, на положении социологии среди других дисциплин в 60-е годы и пространстве возможностей, которые она открывала новичку, и, в-третьих, на условиях формирования и свойствах своего габитуса. Последнее, несомненно, дается ему с наибольшим трудом, поскольку «не все “истории” жизни легко и приятно рассказывать, особенно потому, что социальное происхождение... предрасположено выступать инструментом и ставкой в борьбе и может быть использовано в очень разных смыслах, но почти всегда — не в пользу того, о ком идет речь...» (р. 213).

В качестве «нормальнца-философа» Бурдьё оказывается обладателем максимально престижного диплома в рамках университетского мира (Высшая нормальная школа плюс философия, находящаяся в зените своей славы). В то же время социология в ряду других дисциплин занимает место более чем непрестижное<sup>6</sup>.

Само социологическое пространство к началу 60-х годов поделено между старшим поколением профессоров — Ж. Гурвичем, Ж. Стоцелем и Р. Ароном (у которого Бурдьё работал ассистентом в Сорбонне). Арон в этом пространстве предлагал некоторую свободу тем, кто хотел избежать выбора между теоретизирующей социологией Гурвича и американизированной и сциентистской психологией Стоцеля. С другой стороны, поколение сорокалетних занималось исследованиями и опиралось на новую власть лабораторий, специализировавшихся в различных областях, выделенных в соответствии с категориями здравого смысла: социология труда (А. Турен), социология образования (В. Изамбер) и т. д. Пространство журналов было представлено тремя или четырьмя новыми изданиями: «*Révue française de sociologie*» (Ж. Стоцель), «*Les Cahiers internationaux de sociologie*» (Ж. Гурвич), «*Archives européennes de sociologie*» (Р. Арон). Бурдьё упоминает также журнал К. Леви-Строса «*L'Homme*», пользовавшийся большой популярностью у новичков (в числе которых был он сам). Это было время развития этнологии, и здесь мы можем наблюдать дважды доминируемое положение социологии: она занимала доминируемую позицию и по сравнению с точными науками, и по сравнению с гуманитарными (философия или литература). Она была *дисциплиной парией* и оказывалась своего рода убежищем, принимавшим всех, поскольку «не вызывала робости» у претендентов. Поэтому ее профессиональный корпус был слишком пестр и разнороден с точки зрения уровня образования, «что мешало становлению пространства рациональной дискуссии» (р. 192).

Метод Бурдьё предполагает установление соотношения между пространством возможностей и габитусом того, кто в него интегрирован. Поэтому ученый обращается к анализу характеристик своего габитуса. Разделим условно его формирование на первичную и вторичную социализацию. Специфика формирования габитуса Бурдьё состоит в том, что на каждом этапе он оказывается в ситуации некоторой несовместимости и разрыва. В семье ученого этот разрыв проявляется как отношения между отцом, который стал государственным служащим, и остальными родственниками, оставшимися крестьянами, которым он оказывал постоянные услуги и «каждый год ездил во время своего отпуска, чтобы помогать», но при этом был далек от них. В школе, где учились преимущественно дети крестьян и коммерсантов, Бурдьё «был отделен от них своего рода невидимым

<sup>6</sup> Подробно об этом П. Бурдьё пишет в «*Méditations pascaliennes*». Paris: Eds. du Seuil, 1997. Глава «*Confessions imprisonnelles*» (Неличная исповедь).

барьером, проявлявшимся в виде ритуальных оскорблений вроде фраз “наемные работники всегда в тени”» (р. 213).

К этому добавляется опыт жизни в интернате при подготовке к Высшей нормальной школе, где Бурдьё открывает для себя социальное неравенство, но на этот раз уже через сравнение с буржуазией. Интернат же способствует формированию двойственного отношения к Школе и миру интеллектуалов. Он видит разительный контраст между миром интерната, этим ужасным социальным реализмом, и миром учебного класса, где правят совсем другие правила и «преподаватели, особенно женщины, предлагают мир интеллектуальных открытий и человеческих отношений» (р. 214). «Я не так давно понял, что моя столь глубокая привязанность к школьному миру сформировалась в ходе этого двойственного опыта, и что свойственный мне сильнейший протест против Школы происходит от того огромного и безграничного разочарования, которое возникло у меня под воздействием несоответствия между двумя сторонами школы: одной — ночной и отвратительной, второй — дневной и респектабельной» (р. 214).

Разрыв усиливается после пребывания Бурдьё в Алжире, где в сложных условиях войны он работал в качестве этнолога. Этот опыт маркировал для Бурдьё окончательный разрыв со школьным опытом, а значит, и с возможностью быть органичной частью школьного мира. Габитус, «доставшийся» Бурдьё, не был органичным ни для поля философии (в силу социальной траектории), ни для поля социологии (в силу траектории образовательной), поэтому он отличался как от социологов, так и от философов. В этом габитусе сочеталось несочетаемое: «аристократизм с точки зрения школьной системы и провинциальное и народное социальное происхождение» (р. 214). Бурдьё называет его «расколотым габитусом», который способен порождать различные противоречия и трения: «С одной стороны, строптивость, особенно по отношению к школьной системе, этой *Alma mater* с двумя разными лицами, которая была объектом жесткого и постоянного бунта <...> С другой — высокомерие и почти надменность “избранного”...» (р. 215). Эта двойственность оказывается основанием *двойного дистанцирования*, которое мы можем наблюдать в стратегии Бурдьё: по отношению к доминирующим (философия и профессора социологи), и по отношению к доминируемым (социология и эмпирические социологи). И траектория Бурдьё — это пример превращения нужды в добродетель.

Одним из оснований научной компетенции является то, что называют «интуицией» или «творческим воображением». С точки зрения Бурдьё, его «необходимо искать в научном использовании социального опыта, предварительно подвергнутого социологической критике» (р. 219). «В противоположность тому, что требует *Wertfreiheit* (свобода от ценности), опыт, связанный с прошлым, может и должен быть мобилизован в исследовании при условии, что он был предварительно подвергнут строгому критическому анализу. Отношение к прошлому, которое продолжает существовать и влиять в форме габитуса, должно быть подвергнуто социоанализу» (р. 218). Это позволяет понять практику и извлечь из нее уроки. Бурдьё указывает, что он предпринимал подобное рефлексивное исследование, чтобы вернуться к источникам своего опыта и понять его<sup>7</sup>.

Опыт Бурдьё демонстрирует, что использование специфических рефлексивных практик позволяет расширить пространство свободы, предоставляемое исследователю его профессиональным полем и общим социальным пространством. Хотя мы не хотим абсолютизировать эту стратегию и понимаем, что основой увеличения научной автономии французской социологии и развития и распространения идей П. Бурдьё были не только рефлексивные приемы, но и институциональное состояние социальных наук во Франции в 60-70-е годы, которое сегодня, кстати, сильно изменилось. Конечно, они не сопоставимы с отечественным социологическим пространством. Однако автономия любого профессионального производства всегда есть результат борьбы. Об этом, в том числе, и говорит нам реферируемая книга.

<sup>7</sup> Bourdieu P., «Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn», Paris, Eds. du Seuil, 2002.

## ОБЗОРЫ

*Филиппов А.Ф.\**

### **Теория систем: аутопойесис продолжается**

Niklas Luhmann. Einführung in die Systemtheorie / Dirk Baecker (Hrsg.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag, 2002. 347 S.

Несколько лет назад под впечатлением от кончины Никласа Лумана, я писал: «Кажется почти невероятным, что остановился поток публикаций, что каждый новый год не принесет одну-две новые книги Лумана»<sup>1</sup>. Что ж, не говорил ли сам Луман о невероятности существующего – в особенности, все более сложных систем коммуникаций? Невероятное происходит. За последние годы вышло несколько работ, изданных *post mortem* его учениками, в том числе значительный труд «Политика общества»<sup>2</sup>, о котором мы еще надеемся написать отдельно, и «Религия общества»<sup>3</sup>. Обе эти работы очевидным образом принадлежат к тому же ряду, который был открыт в 1988 г. публикацией книги «Хозяйство общества»<sup>4</sup>, продолжен книгами «Наука общества», «Право общества» и «Искусство общества»<sup>5</sup> и, при жизни автора, завершен монументальным трудом «Общество общества»<sup>6</sup>. Организация материала и предметная область каждого из исследований определяются известной идеей Лумана: общество – это наиболее обширная социальная система. Но эта система не явлена как таковая. Мы имеем дело с частными системами общества: политикой, правом, хозяйством, наукой, религией. Они не составляют общество «в сумме», оно также не является целым, которое больше, чем сумма его частей. Скорее, речь идет о том, что всякая коммуникация – это элемент общества. И от того, как она закодирована, т.е. к какого рода иным коммуникациям она может быть подсоединена, зависит отнесение ее то ли к одной из частных систем общества, то ли к одной из простых социальных систем взаимодействия между присутствующими, то ли к некоторой организации. Общество, как и любая из его систем, – не сумма и не целое. Это система, система же есть различие внутреннего и внешнего, а не тождество, «внутреннее как таковое», безотносительно к любому внешнему.

Мы видим, что с самого начала, с первой же попытки описать амбициозный проект Лумана, его оригинальная терминология и нетривиальные ходы мысли требуют существенных комментариев и разъяснений. Так его работы и построены: о какой бы частной системе общества ни шла речь, Луман уделяет значительное место изложению своей теории систем. В особенности это важно в тех случаях, когда некоторые понятия или рассуждения впервые вводятся в научный оборот. Поэтому у него нет книг, которые могли бы быть названы сугубо предметными (в отличие от общетеоретических, или, на более привычном нам, хотя и не совсем корректном жаргоне, «теоретико-методологических»). В любой из перечисленных выше работ развивается теория систем.

Однако, это не отменяет необходимости сделать самое эту теорию предметом более специального рассмотрения. Таких попыток у Лумана было несколько, и самая известная из

---

*Филиппов Александр Фридрихович* – кандидат философских наук, руководитель Центра фундаментальной социологии, декан факультета социологии МВШСЭН.

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Филиппов А. Ф., 2003

<sup>1</sup> Филиппов А. Ф. Памяти Никласа Лумана // Теория общества. М.: Канон-Пресс-Ц, 1999. С. 406.

<sup>2</sup> Luhmann N. Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000.

<sup>3</sup> Luhmann N. Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2000.

<sup>4</sup> Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1988.

<sup>5</sup> Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1990; Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1993; Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995.

<sup>6</sup> Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.

них – монография «Социальные системы. Очерк общей теории»<sup>7</sup>. Но книга о социальных системах – это, так сказать, пролегомены к той части большого проекта «Теория общества»<sup>8</sup>, которая реализовалась в позднейший период творчества Лумана, так что можно было ожидать и здесь какого-то развития, тем более, – ввиду экспериментального характера всех его публикаций. Луман был в высшей степени недогматичным автором. Он постоянно искал новые ходы, отказывался от каких-то идей, если они переставали работать, напротив, мог снова обратиться к какой-то из них, даже если со стороны создавалось впечатление, что он утратил к ней интерес. Так что теория систем могла бы еще претерпеть существенные изменения. Какие именно – теперь мы уже не узнаем. Но тенденции ее дальнейшей разработки можно обнаружить не только по самым последним прижизненным и посмертным публикациям Лумана в области предметного теоретизирования, но и по недавно выпущенной работе «Введение в теорию систем». Собственно, публикаций с таким названием, по существу, две. Книга основана на лекциях, читанных Луманом в Билефельдском университете в зимний семестр 1991/92 гг. Эти лекции были записаны на магнитофон и теперь предлагаются издательством в виде коллекции записей. Но одновременно выходит книга – ученик Лумана Дирк Беккер приспособил устный язык к письменному и, таким образом, предоставил возможность читателю самому, при желании, сверяться с устным текстом или, напротив, выбирать более привычный для научной работы формат печатной публикации. Я уверен, пишет в редакторском предисловии Беккер, что Луман никогда бы не стал издавать эти лекции в форме книги. Но вряд ли он возражал бы против того, чтобы издать их как собрание рабочих материалов. Именно здесь лучше всего видна жизнь теории, именно здесь решения, принимаемые теоретиком, лучше всего видны именно как *решения* (см.: S. 9). И об этом же говорит сам Луман в завершение лекционного курса. Часто жалуются, замечает он, что теория систем так выстроена, что от нее потом никак не избавишься. Она завладевает – и не отпускает. Ею нельзя просто воспользоваться в каком-то аспекте – либо остаешься вовне, то есть полностью не принимаешь, либо целиком внутри. Вот именно поэтому, заключает Луман, я и стараюсь показать моменты *решений*, выбор, который предоставляется теоретику на разных этапах его работы. Конечно, можно сказать, что это выбор – все равно предструктурированный, что это выбор уже внутри теории. И все-таки читатель – как некогда и слушатель Лумана – получает уникальный шанс: размышляя вместе с автором, попытаться принять свои собственные решения, иначе распорядиться предлагаемыми теоретическими ресурсами – но лишь постольку, поскольку он в принципе согласен с некоторыми базовыми предпосылками теории систем, как ее представляет Луман.

Посмотрим теперь на структуру курса. Луман начинает его с исторического введения, посвящая несколько лекций, прежде всего, структурному функционализму, а также – отдельно и специально – Т. Парсонсу, концепцию которого нельзя ни правильно понять безотносительно к структурному функционализму, ни тем более в полной мере отождествить с ним. Далее он переходит к наиболее обширной части курса – общей теории систем. Вслед за тем большие разделы посвящены времени, смыслу, психическим и социальным системам, коммуникации как «самонаблюдающей операции» и, наконец, двойной контингенции, структуре и конфликту. В общем, это действительно основной набор понятий, с которым давно свыклись те, кто занимается социологией Лумана. Все дело, однако, в тонкостях трактовки, к которым, несомненно, относится и последовательность изложения. Конечно, сравнение книги о социальных системах 1984 г. с курсом лекций 1992 г. не может входить в нашу задачу. Однако отсутствие в курсе лекций таких тем, как «Индивидуальность психических систем», «Общество и интеракция», которым посвящены большие главы «Социальных систем», указывает не столько на смещение интересов автора, сколько на специфику самой темы курса. В то же время, в курсе Луман уделяет столько места анализу

<sup>7</sup> Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984.

<sup>8</sup> Проектом несколько иронически (продолжительность – тридцать лет, затрат – никаких) называл свое построение теории общества сам Луман. См.: Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Op. cit. S. 11.

социологии Парсонса, сколько не уделял, кажется, ни в одной из своих книг (хотя в разное время в нескольких статьях он весьма подробно рассматривал ряд важных аспектов его творчества). Может быть, именно с оценки социологии Парсонса Луманом, которая дана во второй лекции, нам удобно начать ту часть нашей рецензии, которая посвящена собственно содержанию его курса.

Луман всегда утверждал, что социология Парсонса – это высшее теоретическое достижение в социологии XX в., которое по ряду причин осталось недооцененным. Среди этих причин важную роль сыграли сугубо идеологические – критика Парсонса и, шире, всего структурного функционализма, с которым его взгляды часто совершенно неправомерно отождествляли. Останавливаться на этом нет резона. Гораздо интереснее то, что Парсонс, по мнению Лумана, сталкивается в своей теории с проблемами, которые порождены самим способом конструирования теории. При этом, с одной стороны, обнаруживается способность теоретика на пути преодоления этих трудностей открывать новые пути познания, а с другой стороны, как пишет Луман, – «известная герметичность понятия теории». Луман имеет в виду знаменитую схему четырех функций, которые должны быть исполнены системой любого типа и любого уровня. «Понятия определяются лишь внутри этой схемы четырех функций. Необходимость заполнять ее клетки руководит теоретическими решениями. И тогда уже все меньше смысла в том, чтобы раздумывать, как соотносится парсонсовское понятие культуры с таким же понятием в культурной антропологии или проблемами герменевтики а ля Гадамер и т.д. Сопоставления теорий становятся тем сложнее, чем больше на передний план выходит специфический образец теории» (S. 37). Плохо интегрированы между собой у Парсонса и три аспекта межсистемных отношений, о которых он особенно много писал в поздний период творчества. Одной лишь дифференциацией по четырем функциям нельзя было ограничиться, поскольку системы не только выполняют функции, но и реагируют на окружающий мир, получают результаты деятельности других систем и создают что-то для них. Парсонс говорил о кибернетическом контроле (информационном – сверху вниз, и энергетическом – снизу вверх), о взаимопроникновении систем и о средствах коммуникации и обмена между системами. Но при попытке связать это со схемой четырех функций он получал очень сложные и далеко не всегда приемлемые решения, когда для какой-то позиции, которая напрашивалась в силу логики теории, предлагались далеко не очевидные интерпретации в области социального мира. Здесь Парсонс, говорит Луман, все дальше отходит от принятого в научном сообществе словоупотребления, все больше вынужден реагировать на проблемы самой теории, а не реальные социальные проблемы (см.: S. 39). В свою очередь, ученики Парсонса оказались вынужденными сосредоточиваться не на больших принципиальных вопросах, а на темах малого формата, посвящая свои усилия отдельным клеточкам большой схемы. Это сильно сократило круг его последователей и сильно мешало им в работе (см.: S. 40).

Очевидно, что Луман не случайно столь подробно останавливается на глубоких причинах неудач теоретического проекта Парсонса. Рассуждая от противного, можно сказать, что теория, превосходящая парсонсовскую, должна сохранить все ее достижения, но при этом избежать отмеченных недостатков. Это значит, что она также должна исходить из необходимости построения системы абстрактного знания о социальном, но при этом не быть герметичной, не предлагать чуть ли не автоматически действующий механизм производства теоретического знания. Эта теория должна быть, так сказать, не слишком экзотичной, привычные понятия социологического вокабулярия не должны перетолковываться в ней диковинным образом. Соответствует ли теория самого Лумана этим критериям? На этот вопрос не может быть однозначного ответа. Луман, безусловно, принадлежит к числу на редкость начитанных авторов. Он, подобно Парсонсу, чувствителен к импульсам, которые исходят не только от социологии, но и от других дисциплин. Вместе с тем, он реагирует на состояние социологии, ее проблемы, ее уровень дискуссии. Но становится ли он от этого менее экзотическим автором?

Основная часть лекционного курса начинается, как мы уже упомянули, с раздела, посвященного общей теории систем. Луман рассказывает о появлении теории открытых систем, затем переходит к специфическим особенностям модели Input/Output (когда система рассматривается как «черный ящик», исследование которого ограничивается тем, что «на входе» и тем, что «на выходе»). Он также показывает, что социология не может просто усвоить себе эту терминологию общей теории систем. Точно так же невозможно и простое перенесение кибернетической модели управления из теории систем в теорию действия, что происходит ныне сплошь и рядом «в политологических кругах» (S. 55). Дело в том, утверждает Луман, что из потребности в управлении (т.е. снижении некоего различия между реальным и желательным состоянием) сделали заключение о его возможности, хотя это различие, быть может, система контролировать не в состоянии, поскольку вызвано оно какими-то внешними воздействиями. Свои ограничения есть и у других кибернетических моделей. И ограничения эти, которые нельзя устранить ни математическими формулами, ни техническими ухищрениями, связаны с тем, что все эти модели не давали ответа на главный вопрос: «Что есть система, способная делать то, что делает? Что лежит в основе?». Ответу на этот вопрос и посвящены последующие лекции.

Самой важной и самой абстрактной из них называет Луман четвертую лекцию «Система как различие (Анализ формы)». Ключевое положение теории систем состоит в том, что система – это «различие между системой и окружающим миром». То, что слово система появляется здесь два раза, – не случайно. Это с самого начала указывает на то, что ни различие без указания то, различие чего, ни идентификация без указания различия невозможны. Луман мобилизует здесь достаточно обширные ресурсы, чтобы показать, в какую именно традицию размышлений вписываются его построения. Здесь мы находим и лингвистику Фердинанда де Соссюра, и социологию Габриэля Тарда, и даже столь неожиданный в данном контексте источник, как «Насилие и священное» Рене Жиран. Однако, главный источник здесь, конечно, «логика исчисления форм» Джорджа Спенсера Брауна. Как и в прочих своих работах последнего времени по теории систем, Луман берет отсюда немного: первоначальное указание «Проведи различие!», парадоксальный характер единства различения и обозначения, повторение операции различения внутри самого различенного (знаменитое *re-entry*, «повторное вхождение» у Спенсера Брауна). Значение этой логики для теории систем излагается в четырех пунктах: 1. «Система – это форма с двумя сторонами». 2. Система образуется как последовательность однородных операций: «Различие системы и окружающего мира возникает лишь из того факта, что операция производит дальнейшую операцию того же типа» (S. 77). 3. «Система вновь вступает в себя самое или копирует себя в себя» (S. 82). Так, например, коммуникация может отсылать к некоторой информации, т.е. к тому, что случилось вне коммуникации. Но сама информация – это то, что определяется в коммуникации как информация (все остальное – не информация, не обозначается как информация). Коммуникация подсоединяется только к коммуникации, то есть коммуникация ссылается на коммуникацию (самореференция системы коммуникаций), а то, что не есть коммуникация (инореференция системы коммуникаций), определяется в коммуникации (различие системы и окружающего мира скопировано в систему). 4. Таким образом, здесь обнаруживается парадокс, «об одном и том же речь идет два раза. Различение вступает в различенное им. ... Есть это различение теперь то же, чем оно было прежде? Есть ли еще тут то, что, было прежде? Или первое различение исчезает и становится вторым? Ответ состоит в том, что здесь можно предполагать наличие парадокса, то есть что различение, которое снова вступает в себя, есть то же самое и не то же самое одновременно и что в этом-то и состоит вся хитрость теории» (S. 88). Парадокс разрешается в данном случае благодаря тому, что наблюдатель может различать, относится ли его различение к системе и окружающему миру или к различению внутри самой системы. «Наблюдатель может выступить дважды: как посторонний наблюдатель, который видит, что иная система наблюдает себя самое или самонаблюдатель, как тот, кто наблюдает самого себя, соотносится с самим собой, говорит нечто о самом себе» (S. 88). Вот это соотнесение с

самим собой – то есть зацепление одной операции за другую однородную операцию и называется «оперативной замкнутостью». Этому посвящена пятая лекция. Именно здесь Луман вводит понятие самоорганизации и – давно уже ожидаемое теми, кто знаком с его теорией, – понятие аутопойесиса.

Структуры, говорит Луман, суть ожидания относительно возможности присоединения операций, причем «ожидания» понимаются здесь отнюдь не субъективистски, но как способ «редукции комплексности» (система не принимает решение по поводу каждой ситуации отдельно – она структурирована, т.е. совершает ожидаемые действия; при этом структура не одна, так что она не ограничена в репертуаре операций) (см.: S. 102-104). В свою очередь структуры могут быть построены только посредством операций системы – в этом смысле говорится о самоорганизации. Но то же самое следует сказать и о самих операциях. Операции системы могут быть произведены лишь в самой системе – об этом и говорит знаменитое понятие аутопойесиса, введенное Умберто Матураной и подхваченное Франсиско Варелой. Во всех своих публикациях, где толкуется это понятие, Луман подчеркивает важность их вклада. Но, кажется, только на лекциях он высказывается на эту тему несколько более подробно. Он говорит здесь о том, что работы Матураны и Варелы подвергались критике биологами, которые не могли понять, что нового вносит понятие аутопойесиса дополнительно к уже имеющимся познаниям о функционировании живого. Хотя это понятие и облегчает понимание того, что такое оперативная замкнутость, и облегчает поиски ответа на вопрос о том, в чем разница между производством и каузальностью, говорит Луман, однако то, что изобрели это понятие именно биологи и нейробиологи, – это, скорее, случайность, и отсюда совсем не следует, что применение его в других областях должно происходить по аналогии в строго техническом смысле. Матурана, рассказывает Луман, долго спорил со мной, убеждал, что коммуникацию можно рассматривать как элемент социальной системы, только если удастся показать невозможность отдельной коммуникации, не связанной с прочими. Но как раз это, по мнению Лумана, далеко не сложно, в особенности если вспомнить о лингвистической традиции – хотя бы того же де Соссюра. Дело просто в том, что Матурана не мог принять исключение из социальной системы живого человека, что было неизбежным следствием такого понимания коммуникации. Напротив, социологи, которые протестовали против применения этого понятия, утверждали, что это новое использование биологических метафор в социологии. Луман согласен: в известном смысле, все основные понятия социологии метафоричны. На самом деле, проблема совсем в другом. Понятие аутопойесиса и недооценивают (не понимают его радикальности, не видят, что здесь происходит решительный разрыв с традицией онтологической теории познания), и переоценивают (не видят, что его объяснительная ценность, особенно в социологическом контексте), ничтожна. Это исходный пункт для объяснений, но не само объяснение. Аутопойесис нацеливает нас на «что?» – вопросы: Что есть жизнь? Что есть социальное? – Это не те вопросы, которыми обычно занимается наука. Они имеют значение для обоснования знания, но не для познания как такового.

Каково же отношение между системой и окружающим миром? Матурана назвал его «структурной сопряженностью» («structural coupling», по-немецки это передается как «strukturelle Kopplung»), которая, так сказать, «перпендикулярна» аутопойесису, то есть определенная привязка к окружающему миру не мешает аутопойесису. Благодаря структурной сопряженности, которую Луман обсуждает в седьмой лекции, системы могут существовать в окружающем мире, потому что далеко не все события, которые в нем происходят, имеют для нее значение. Так, зрение редуцирует множество того, что вообще могло бы быть видимо, до очень узкого диапазона. И таков же слух. А в области социального язык «многое исключает, чтобы включить немного, и потому сам становится сложен» (S. 123), «общество лишь посредством сознания сопрягается с окружающим миром, а потому нет никаких физических, химических и даже чисто биологических воздействий на

общественную коммуникацию. Все должно быть проведено через игольное ушко коммуникации» (S. 123).

В седьмой лекции речь идет о наблюдении, и, прежде всего, важнейшем для Лумана различии между наблюдением первого и второго порядка. Ведь до сих пор все описания были построены на том, что мы действительно описываем то, как это есть в действительности. Теперь пришла пора указать не просто на возможность иных различий, но и на то весьма тонкое обстоятельство, что наблюдение второго порядка (наблюдение наблюдателя) есть одновременно и наблюдение первого порядка, так как наблюдаемый наблюдатель есть также и объект наблюдения, и дело лишь в том, принимаем ли мы в расчет те различия, которые проводит он сам. Однако более важным для социологов является заход, так сказать, с противоположной стороны: «Если речь идет о самонаблюдении, то наблюдатель – это система, которая себя наблюдает. Тогда он в системе. Он либо есть система... либо же, однако, он есть в окружающем мире. Соответственно, у нас имеется различие самонаблюдения и инонаблюдения. Система может быть наблюдаема со стороны окружающего мира... или это есть самое себя наблюдающая система» (S. 150-151). Для социологов это важно, потому они должны представлять себе, что означают их наблюдения: наблюдают ли они систему извне или участвуют в коммуникациях самонаблюдения некоторой системы. Возможно также представить себе и колебательные движения: от инонаблюдения к самонаблюдению и обратно (т.е. наблюдатель использует то одно различие, то другое), что снова ставит перед нами проблему повторного вхождения различия в систему.

Раздел об общей теории систем завершают лекции о комплексности и рациональности. Что касается комплексности, то, кажется, только в этих лекциях Луман ставит вопрос, который буквально напрашивается у всех, кто знаком с более ранней версией его социологии, опознавательным знаком которой стала формула «редукция комплексности», а именно, вопрос о том, как соотносится эта магистральная идея сложности, или комплексности, с которой приходится справляться системе, с концепцией аутопойесиса и оперативной замкнутости систем. Несмотря на то, что Луман и здесь включает комплексность в число своих основных тем и понятий, его рассуждения все-таки сводятся скорее к тому, что прежнего ключевого значения это понятие больше не имеет. Меняется парадигма, говорит Луман, меняется язык, важным становится то, что наблюдатель описывает систему как сложную, в ней что-то происходит, когда наблюдают, как система наблюдает... и т.д. Проблеме рациональности Луман посвятил в свое время немало трудов, и еще в 1968 г. вышла его книга «Понятие цели и рациональность системы»<sup>9</sup>. К этой же формуле он прибегает и здесь, тоже, правда, перетолковывая ее в терминах новой теории систем: «О рациональности системы я хотел бы говорить в той мере, в какой аспекты окружающего мира могут быть учтены в системе» (S. 190). Но ведь мы говорим об оперативной замкнутости, о безразличии по отношению к окружающему миру! Значит, здесь предполагается в некотором роде попятное движение: к чувствительности системы, к готовности откликаться на раздражения извне. Функционально дифференцированные системы, специфически ориентированные на раздражения определенного рода, в этом смысле более рациональны (например, политика, исследующая вопрос с той точки зрения, является ли он политическим, или система права и т.д.). На этом изложение общей теории систем завершается.

В девятой лекции Луман говорит о времени. Это также одна из тем, которая почти постоянно находилась в центре его внимания и, кажется, его концепция не претерпевает в лекционном курсе никаких драматических изменений. Луман по-прежнему говорит о том, что все происходящее совершается одновременно, что прошлое и будущее – это различия, проводимые с точки зрения настоящего, но что при этом настоящее как таковое идентифицируется некоторым образом, предполагающим все-таки его большую или

---

<sup>9</sup> Luhmann N. Zweckbegriff und Systemrationalität. 1968. Neudruck Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1973.



меньшую продолжительность. И вот эта продолжительность настоящего все уменьшается, так что проблемы планирования, расчета времени и различного течения времени в разных системах только обостряются. Все это, судя по всему, и глубже, и точнее было прослежено Луманом в других работах того же времени, например, посвященных социологии риска<sup>10</sup>.

Вслед за понятием времени рассматривается понятие смысла. Особых неожиданностей нет и здесь. Луман, как и прежде, обращает внимание на то, что смысл не может пониматься ни в духе философии сознания, ни даже как интерсубъективный феномен, поскольку это так или иначе привязывает его к специфическому носителю. Эту категорию следует применять к двум различным типам систем: «психическим системам, системам сознания, которые осмысленно переживают, и социальным системам, системам коммуникации, которые воспроизводят смысл благодаря тому, что он используется в коммуникации» (S. 225). Любопытно в этой лекции то, что здесь, пожалуй, мы находим один из ранних (хотя и не самый ранний) в его творчестве опыт введения в оборот различения среды и формы, с которым он затем работал весьма интенсивно. Само это различие появляется в 1926 г. у немецкого психолога Фрица Хайдера. «Идея "среды" состоит в том, что имеется область рыхлых сопряжений массово наличествующих элементов: частицы воздуха, физические носители света – "свет" не есть физическое понятие, но понятие среды, в которой мы нечто видим. ... То есть явно есть различие между невидимой средой и зримой "формой", как я бы теперь сказал, или гештальтом» (S. 226). Здесь получается, что «есть масса элементов, которые не обязаны своим статусом элементу определенному сопряжению, но предоставляют материал, из которого могут образовываться сопряжения» (S. 227). Хайдер говорил о среде и вещи, но Луман вместо вещи говорит о форме, чтобы включить в рассмотрение язык. «Есть множество слов, и есть определенные правила комбинаций. Можно образовывать предложения, и предложения суть формы в среде языка, тогда как слова, в свою очередь, суть форма в среде возможных шумов или возможного оптического дизайна» (S. 227). Очевидно, что такая концепция и была необходима Луману, и представляла существенную опасность для его теории систем. Она была необходима, потому что уже понятие структурного сопряжения оказалось, в общем, не очень ясным. Это, кстати говоря, можно было заметить еще раньше, когда он работал с понятием комплексности как основной категорией. Тогда объяснения Лумана относительно характера комплексности сводились, в общем, к тому, что есть, дескать, множество элементов, и когда не все сопрягается со всем, образуются системы, и область «внутри», система, отграничивается от области «вне», мира. Но уже тогда получалось как-то странно: в мире и в системе оказывались одни и те же элементы, что позволяло, между прочим, делать онтологические высказывания о природе мира, чего Луман отнюдь не желал. Теперь понятие аутопойесиса должно было внушить нам, что элемент есть элемент именно в системе. Луман мог сколь угодно подробно рассуждать о том, что пойесис не тождествен каузальности, что элементы не создаются, но обретают особый характер в системе, однако все это не меняло того важного обстоятельства, что только в системе появлялось то, что можно было назвать ее элементом. Однако этому – о чем Луман в лекциях не говорит и что, в общем, было бы далеко не новостью для всех, кто размышлял о природе границы, – противоречит хотя бы то, что граница системы принадлежит настолько же ей, насколько и окружающему миру. Только благодаря тому, что на самом деле различие системы и окружающего мира не стоит преувеличивать, возможно структурное сопряжение. Коммуникации в отдельных системах общества происходят по-разному, но все-таки все они – коммуникации. Осмысленной может быть и психическая жизнь разных, замкнутых в своем аутопойесисе сознаний, и процесс коммуникации в разных системах. Вот почему смысл, как и комплексность, рискованное понятие, говорит Луман: его невозможно отрицать, противоположного ему понятия нет, любая бессмыслица возможна лишь в качестве смысла. Таким образом, вместо суперсистемы, объемлющей собой все: и всякого рода коммуникации, и все сознания,

<sup>10</sup> См.: Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin: De Gruyter, 1991. См. также русский перевод первой главы этой книги в альманахе THESIS, № 5. 1994 г.

появляется суперсреда смысла, в которой возможна дальнейшая спецификация элементов (мысли или коммуникации) и образование разных систем большей или меньшей сложности. То, что элемент на самом деле конституируется не системой, что может быть внутреннее без внешнего, что элемент и форма не взаимосвязаны, – это очень серьезный корректив ко всей теоретической конструкции – а может быть, и серьезная нагрузка на нее, напряжения которой при последовательном развитии эта конструкция могла бы и не выдержать. Во всяком случае, в лекционном курсе Луман ясно дает понять своим слушателям, что работа с этим ресурсом носит экспериментальный характер. В позднейших сочинениях он уже не акцентирует то обстоятельство, что различные ресурсы, к которым он прибегает (в лекции сразу после обращения к Хайдеру следует обращение к Гуссерлю), могут быть плохо совместимы друг с другом. Именно в лекциях Луман ставит вопрос, поначалу вообще не очень хорошо вписывающийся в его концептуальные схемы.

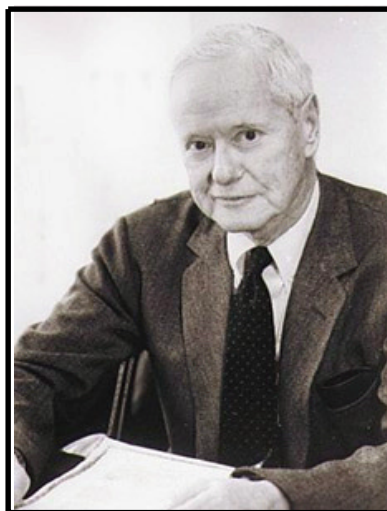
Любопытно посмотреть, как это происходит. Лекция о смысле завершается, но лектор заявляет: я бы хотел попросить у Вас еще несколько минут, пока лента в магнитофоне еще не кончилась. Мы зафиксировали важные особенности смысла: его универсальность, невозможность его отрицать, его принудительный характер (то есть необходимость совершать операции в среде смысла)... Но что если поставить теперь вопрос более узко, а именно, как вопрос о том, «какой смысл является "осмысленным"» (S. 245)? Это вопрос о совместимости, связности систем описаний и самоописаний. «Мы можем описать, что есть смысл университета, а затем очень быстро обнаружить, что многое из того, что происходит в университете, бессмысленно, то есть в этом смысле не подходит к самоописаниям университета» (S. 245-46). Это значит, продолжает Луман, что чем больше мы должны говорить о «подлинном смысле», будь то смысл нашей жизни или каких-то социальных институтов, тем больше будет жалоб на утрату смысла, на бессмыслицу. Это ставит нас перед вопросом о соотношении психических и социальных систем.

Иначе говоря, те, кто «купился» на казалось бы неожиданно человеческую интонацию теории систем, могут быть разочарованы: рассуждение не выходит из ее русла. В следующей, одиннадцатой лекции Луман говорит о действии и мотивации. Социологу-эмпирику трудно отказаться от концепции действия, ведь, о чем бы он ни спрашивал респондентов, сама ситуация вопросов и ответов уже предполагает действия (т.е. и вопрос, и ответ – уже действия). Рената Майнц, очень известный в свое время социолог-прикладник (Луман работал вместе с ней в комиссии по реформе государственной службы), когда-то сказала, что если теория систем абстрагируется от действия, то будет похожа на «даму без нижней части туловища». Цитируя это замечание, Луман добавляет: все еще хуже, у дамы нет и верхней части туловища, у нее вообще нет туловища, туловище не входит в социальные системы. Человек – это не часть, он находится в окружающем мире систем, что отнюдь не означает пренебрежения человеком или его недооценки. Напротив, принимая во внимания нашу критическую установку по отношению к обществу, это более приятная позиция. «Сам бы я во всяком случае лучше чувствовал себя в окружающем мире, чем в обществе, где другие люди думали бы мои мысли и приводили бы в движение другие биологические или химические реакции моего тела, на которые у меня совсем другие планы. То есть различие системы и окружающего мира предоставляет также возможность мыслить радикальный индивидуализм в окружающем мире системы...» (S. 256-57). Между психическими и социальными системами, благодаря принятому нами теоретическому решению, разверзается пропасть, говорит Луман. Ее необходимо, так сказать, не зарыть, но перекрыть, установить род связи индивида и социальной системы. Здесь используется уже введенное выше понятие структурной сопряженности, которое, как мимоходом замечает Луман, тоже есть форма, то что-то включает, а что-то исключает. Почему эта форма не есть система, мы никогда не узнаем, как никогда не узнаем, почему системой не становится среда формы. Таково теоретическое решение! Так вот, в рассматриваемом случае «решающий тезис состоит в том, что социальные системы сопряжены с сознанием и ничем иным, что коммуникация может быть полностью независимой от того, что происходит в мире, как

образуются атомы и молекулы, какие дуют ветра и бури хлещут море, или как выглядят буквы, или как шумы принимают форму слов. Все это не играет роли, кроме того, что опосредовано сознанием. А сознание, конечно, есть то, что способно воспринимать» (S. 270-71). А реализуется это структурное сопряжение посредством языка – еще один новый ход для концепции Лумана. Язык приковывает внимание, говорит Луман, он «зачаровывает», не дает заниматься другими вещами. Вместе с тем, язык неизбежен для переноса или фиксации смысла в коммуникации. Но сам язык – не система, у него нет собственного способа оперирования (кроме коммуникации – но это элемент социальной системы; и кроме мышления в языке – но это элемент системы сознания). Использование языка – это не действие. «Отличие теории коммуникации, во всяком случае, такой, какой она представляется мне, и теорией речевых актов или теорией коммуникативного действия заключается в вопросе, включают ли понимание в единство коммуникации или нет. Если коммуникацию понимают как действие, то есть лишь сообщение... считают коммуникацией, тогда понимание остается вовне, а в теории приходится предпринимать меры по корректировке» (S. 280). Получатель сообщения изначально исключен, а говорящий должен предпринимать предвосхищающие усилия для достижения понимания. Он должен размышлять, рационально калькулировать, принимать в расчет нормы. Так получается, когда мы следуем за Хабермасом. Другое теоретическое решение состоит в том, чтобы с самого начала включить понимание, уже самое элементарное единство системы. Теория при этом получается совершенно другая – разгруженная от рациональности и норм (см. S. 281). Коммуникация – это самостоятельный процесс, говорит Луман уже в следующей лекции. Конечно, сообщение может натолкнуться на непонимание и неприятие. И тогда достаточно интересно исследовать именно то, как это получается, что все-таки понимание и принятие перевешивает, коммуникация цепляется за коммуникацию и появляется система коммуникаций. Она появляется в ситуации *двойной контингенции*, о которой Луман имел обыкновение прежде говорить в начале изложения и к которой обращается теперь лишь в последней лекции. Здесь же Луман рассматривает проблематику структуры и конфликта, то есть более прикладных, если можно так сказать, тем, для изложения которых Луман привлекает также и материалы эмпирических исследований.

В целом книга производит любопытное впечатление. Она показывает, что концепция Лумана в значительной степени все еще остается неиспользованным ресурсом. Далекое не все проблемы, на которые Луман указывает в своем изложении, удалось разрешить ему самому или его последователям. Однако, теория систем обладает действительно большой способностью подсоединения. К ней можно подсоединиться и работать дальше. Как это происходит, мы покажем в следующей части нашего обзора.

## IN MEMORIAM



### **РОБЕРТ КИНГ МЕРТОН**

(1910-2003)

23 февраля 2003 года на 92-м году жизни в Нью-Йорке скончался великий социолог нашего времени Роберт Кинг Мертон.

В лице Роберта Мертона международное научное сообщество потеряло одного из отцов-основателей социологии XX века. Его знаменитая теория функционального анализа, составными частями которой стали введенные Робертом Мертоном понятия «теория среднего уровня», «явные и скрытые функции», «ролевой набор», «ролевая модель», «самосбывающиеся предсказания» и многие другие, стала краеугольным камнем развития мировой социологии. Великий научный талант Роберта Мертона проявил себя в подавляющем большинстве направлений теоретической и прикладной социологии, а также истории науки. Энциклопедическая ученость, способность к теоретическому синтезу, невероятная тонкость, точность и ясность научного мышления и стилистики изложения, непревзойденные, вплоть до последних дней жизни, самодисциплина и работоспособность, высочайшие нравственные критерии в науке снискали Роберту Мертону безмерное уважение социологов всех поколений, сделали его выдающимся «собирателем» американского и международного социологического сообщества и позволили связать с его именем неофициальный титул «мистер Социология».

Роберт Кинг Мертон (Мейер Школьник) родился 5 июля 1910 года в Филадельфии в семье небогатого иммигранта-торговца из Украины. После окончания в 1931 году Университета Темпл со степенью по философии и истории науки Роберт Мертон поступает в аспирантуру Гарвардского университета на только что открытый там социологический факультет, где он становится аспирантом и академическим ассистентом декана факультета Питирима Сорокина, влияние которого, наряду с влиянием другого профессора факультета – Толкотта Парсонса, оказало решающее воздействие на интеллектуальное становление молодого ученого. (В течение всей своей жизнь Роберт Мертон испытывал трепетную благодарность по отношению к своему наставнику Питириму Сорокину и возглавлял неформальное сообщество его учеников и последователей в США.) После окончания Гарварда и получения докторской степени с 1941 года и до конца жизни Роберт Мертон преподавал в Колумбийском университете. В 1936-1940 годах им были опубликованы первые крупные работы по теории социальной структуры, функционализму, аномии, социальному времени, которые позднее вошли в книгу «Социальная теория и социальная

структура» (1949) – величайшее произведение социологии XX века, «Библия» для тех, кто хочет и может понимать социологию как науку.

В последующие годы Роберт Мертон опубликовал ряд принципиальных теоретических и методологических исследований, а также десятки сборников и сотни статей в главных научных издательствах и социологических изданиях-среди них монографии «Фокусированное интервью» (1956), «На плечах гигантов» (1965), «Социология науки» (1973), «Социологическая амбивалентность» (1976), «Социальное исследование и прикладные профессии» (1982) и др.

В 1942–1971 годах вместе с Полем Лазарсфельдом возглавлял Бюро прикладных социальных исследований при Колумбийском университете.

Трудно перечислить все награды, почетные звания и премии, полученные Робертом Мертоном за его вклад в науку. Остается лишь сожалеть, что за достижения в социологии не присуждается Нобелевская премия. В противном случае одним из ее первых обладателей был бы Роберт Мертон. (Сын Роберта Мертона, профессор Гарварда, экономист Роберт С.Мертон стал лауреатом этой высшей награды в 1997 году.)

К числу наиболее принципиальных положений теории Роберта Мертона относилась концепция социологии как науки, не сводимой ни к эмпирическим исследованиям тех или иных социальных объектов, ни к метафизическим социофилософским построениям, но, в противоположность этому, создающей инструментальные «теории среднего уровня», опирающиеся на математический аппарат, интерпретирующие реальные формы социального поведения и в итоге используемые в решении прикладных задач, но по определению не претендующие на всеохватность и универсальность. («Дабы сохраниться в качестве науки, социология должна самиограничиться» – так можно было бы изложить суть этого принципа.) При этом социологический анализ, воссоздавая внутреннюю структуру явлений, должен оперировать объективно наблюдаемыми последствиями этих явлений, а не умозаключениями об их возможной «сущности». Подобное методологическое самоограничение социологии, по мнению Роберта Мертона, и было призвано обеспечить выживание и полноценное развитие социологии в системе знаний о мире.

Не менее замечательной и значимой представляется идея социальной структуры, выдвинутая и детально развитая Робертом Мертоном. Социальная структура, не видимая невооруженным социологическими «инструментами» глазом, между тем составляет основу жизнедеятельности общества, сообщая явлениям социальной жизни функциональную устойчивость и повторяемость во времени. Разнообразные сочетания социальных функций удерживают «на плаву» существующие группы, организации и институты общества. Но функция образует сложный альянс со своей противоположностью, дисфункцией, которая столь же методично может разрушать социальные факты (в дюркгеймовском смысле этого понятия). Композиция функционального анализа еще более усложнялась ученым путем введения явных и скрытых (латентных) функций. В целом совершенно очевидно, что Роберт Мертон как теоретик социологии был сторонником многофакторного комплексного анализа социальной действительности, никогда не играя на упрощение, сколь бы желанными подобные упрощения ни казались американской университетской и околоуниверситетской публике и общественному мнению.

Теории Роберта Мертона был присущ и столь же характерный для нее дух драматизма. Рожденный и воспитанный в трущобах южной Филадельфии, но поднявшийся до вершин мировой научной славы, Мертон воплотил в своей жизни «американскую мечту». Однако сам он никогда не был глашатаем этой мечты и соответствующей ей идеологии. Напротив, главные теории ученого косвенным и даже прямым образом были навеяны восприятием и осмыслением Великой Депрессии 30-х годов. Это с особой силой воплотилось в его теории аномии – неизбежной болезни любого общества, в большей или меньшей степени пребывающем в состоянии рассогласованности, конфликта или вакуума ценностей. Драматизм теории Роберта Мертона был, однако, несхож с внутренним изломом европейской социологической мысли. Его голосом говорил великодержавный

социологический интеллект, опиравшийся на институциональную мощь своего общества и своей традиции в социологии, но нашедший в себе огромный потенциал саморефлексии, самокритики и никогда – самолюбования.

Влияние Роберта Мертонна на становление советской и постсоветской социологии в России было велико. Посетив СССР в 60-е годы, он дал удивительно емкий и не утративший своей значимости экспресс-анализ того, что происходило с социологией в Советском Союзе. С тех пор все главные события в советской, а потом и российской социологии чутко воспринимались и осмысливались им. В 60–80-е годы теории Мертонна были теми веяниями научной социологии, которые в первую очередь проникали через железный занавес. И можно сказать, что целые поколения российских социологов, пришедших к нам из 60-х и последующих годов, были воспитаны «на Мертоне», доходившем до нас в машинописных списках и малотиражных переводах.

Но связь Роберта Мертонна с Россией не была чисто теоретической. Он оказывал живую помощь многим ныне здравствующим российским ученым. Увешанная фотографиями великих социологов и заполненная тоннами аккуратно рассортированных книг, небольшая и уютная квартира, на Ривер-сайд Драйве близ Колумбийского университета в Нью-Йорке всегда и практически по первому звонку открывала свои двери для «русских социологов», посещавших Америку. Систематическая и многолетняя переписка по самым высоким и приземленным проблемам развития социологии, которую вел Роберт Мертон со своими коллегами в России и которая сопровождалась присылкой от него статей, книг и других материалов, может служить образцом того, как истинному гению в равной степени подчиняется и великое, и повседневное, и смешное.

Уже десятилетия тому назад теории Роберта Мертонна были подвергнуты серьезной и плодотворной для дальнейшего развития социологии критике. Позитивное (не разрушительное!) преодоление функционального анализа лишь высветило грандиозность того, что было создано ученым-социологом. Это укрепило славу Роберта Мертонна как классика социологии на все времена. В современных условиях его теоретическое наследие сохраняет особую и даже радикальную важность для России. Наша отечественная социология сегодня, все еще пребывающая в состоянии полумифологической заикленности на себе самой и своем великом прошлом, не может иметь перед собой лучшего образца научности, честности и «медицинской» ясности, чем тот, который воплотил в своих теориях Роберт Мертон. В этом смысле принципы мертонианства в социологии есть критерий того, что есть социология и кто такой социолог. Эти принципы могут сыграть решающую роль в процессе превращения социологии из идеологизированного мифа в науку, где бы этот процесс ни разворачивался.

Уход Мертонна знаменует собой бесповоротное, прежде фактическое, а теперь уже и символическое окончание эпохи классики в развитии мировой социальной науки. Наступили иные времена. Кто станет новым и равномасштабным властителем новых дум, сказать трудно. Но вершины прежней эпохи никогда не скроются за горизонтом.

**Никита ПОКРОВСКИЙ\***

**РАННИЙ ВЕЧЕР НА УТРЕННИХ ХОЛМАХ, ГОД 1990-й**

(Предельно субъективные заметки о Роберте Мертоне)

Учебный сезон 1989-1990 годов мне довелось проводить в Северной Каролине. Поверьте, это далеко не худшее место на Земле, особенно весной, когда все видимое пространство в одночасье покрывается цветами невиданной красоты. Даже самые неприметные и кривые сучья, «палки», как я их называл, вдруг превращаются в неповторимые цветущие образчики искусства икебаны. Думаю, что для нормального человека достаточно один раз в жизни увидеть это, ибо от ежегодного созерцания сей картины может развиться опасная изнеженность духа и мысли тоже.

**Оказывается, Мертон жив...**

Там, в Северной Каролине, в расположении Национального гуманитарного центра США тихо и неприметно текла моя научная деятельность на ниве истории американской социальной философии и социологии. Несмотря на то, что Национальный гуманитарный центр даже чисто географически находится на полпути между близлежащими университетскими гигантами – Дюкским университетом и Университетом Северной Каролины в Чепел Хилле – оба упомянутых учебных заведения, видимо, по причине присущего им снобизма проявляют мало интереса к работающим в НГЦ сорока отобранным со всех США и за границей гуманитариям и социальным исследователям.

Между тем мне повезло. Случайно представленный на одном из малозначимых общественных мероприятий Эдварду Тирикьяну, профессору социологии Дюкского университета, я вскоре и как-то незаметно для себя стал не только часто и подолгу общаться с этим выдающимся социологом, но превратился в своего рода ассистента «Эда» Тирикьяна, посещающего все его занятия со студентами и аспирантами, а во время его частых отъездов по академическим делам, замещающего его в преподавании.

В начале февраля, а это уже близкое начало весны в тех краях, я вскользь упомянул Тирикьяну, что собираюсь в Нью-Йорк на День св.Валентина – один из самых любимых и уважаемых праздников в Америке. Поездка моя, к сожалению, никакого отношения к Дню св.Валентина не имела, но как бы совпала с ним по чистой случайности.

Стоило Эду Тирикьяну услышать о моем вояже в Нью-Йорк, как мысль его стала активно работать. Продолжая прежде начатый разговор со мной, он вошел в «параллельный» слой мышления, делая какие-то свои мнемонические вычисления.

«Вам надо повидать в Нью-Йорке одного единственного человека, Боба Мертона», – неожиданно и безо всякой связи с контекстом нашего разговора «выдал» Тирикьян итог параллельных калькуляций.

Все это прозвучало для меня несколько неожиданно. Трудно было на слух воспринять имя Мертона – «Боб». Как-никак, великого классика мы здесь, в России, привыкли именовать полным именем. Кроме того, я понятия не имел, что он живет в Нью-Йорке, и, если честно, вообще не знал, жив ли он – настолько он был канонизирован нашими историками социологии, а это обычно, согласно доброй русской традиции, происходит с теми, кто уже давно почил в бозе.

Как бы то ни было все оказалось иначе. И Эд Тирикьян, сам, можно сказать, живой классик или кандидат на этот «пост», вызвался написать рекомендательное письмо или совершить звонок Мертону. Тут же я узнал и то, что оба, Мертон и Тирикьян, учились в

---

\* Покровский Никита Сергеевич – д. социол. н., профессор, зав. Кафедрой общей социологии ГУ-ВШЭ, президент Сообщества профессиональных социологов.

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Покровский Н.Е., 2003

Гарвардском университете, хотя и в разное время, у Питирима Сорокина. А надо сказать, что все ученики Сорокина, вне зависимости от их дальнейшей судьбы в социологии, сохраняют своего рода братство.

Когда пришел день паковать чемодан и ехать в аэропорт, увы, рекомендательного письма к Мертону у меня не было. Эд Тирикьян, выполняющий в своем университете массу всяческих административных функций, был унесен бюрократическим ветром, закручен в вихре событий и в итоге недостижим для простых смертных.

«Быть может, он все-таки позвонил Мертону», – утешил я себя весьма слабой надеждой. Но вспомнив внешний вид письменного стола Тирикьяна в кабинете на социологическом факультете, отказался и от этой надежды. (На этом историческом столе можно лицезреть многолетние напластования писем, оттисков статей, официальных меморандумов, черновики, ненужных рекламных проспектов, «выдерки» из журналов и т.д. и т.п. Все это венчалось небольшим лозунгом, выгравированным на пластинке красного дерева, стоящей на единственном свободном кусочке стола и обращенном к посетителям: «Степень беспорядка на столе прямо пропорциональна гениальности того, кто сидит за столом». Что-то в этом духе.)

Невольно воскресив в памяти все это, я и засомневался в том, что звонок в Нью-Йорк был сделан. (На самом же деле он был сделан, что и предопределило в значительной мере ход дальнейших событий.)

### **Нью-Йорк – город странный**

Нью-Йорк – город странный. Грандиозный и непродуктивный.

Почему грандиозный, разумеется, ясно. Но отчего непродуктивный?

Пытаясь понять, почему этот мегаполис не вызывает во мне прилива благоговения, я пришел к неожиданному соображению.

Проведя в сумме и в разное время изрядное число недель в этом городе, я никогда не занимался в нем продуктивной профессиональной деятельностью. Как-то не совпадал Нью-Йорк с моими научными интересами и, я бы сказал, с моими интересами вообще. Здесь не «клеились» дела. Все знакомства, возникшие в Нью-Йорке, рано или поздно (скорее, рано, чем поздно) исчерпывали себя. Моя жизнь скользила по поверхности, что никак не гармонировало с монументальной урбанистской декорацией, созданной усилиями миллионов вполне продуктивных творцов городской среды.

Зато чего хватало в «моем» Нью-Йорке, так это всякого рода инфраструктурной деятельности. Беготни по магазинам, билетным кассам «Аэрофлота», совдипучреждениям (в прежние годы, не сейчас), обязательным деловым визитам, в которых не было никакого интереса ко мне, организационных попыток добраться с багажом до отдаленного аэропорта имени Кеннеди и прочее в том же духе.

Да, конечно, были великие нью-йоркские музеи. Но во всей этой достаточно малозначимой суете представлялось крайне трудным перейти с «инфраструктурной» волны на волну восприятия нетленных произведений искусства. Поэтому с некоторых пор я стал приходить в Музей Метрополитен только для свидания с двумя-тремя картинами, с которыми у меня возникли мои собственными отношениями. Но даже эти сугубо личные свидания никак не могли уравновесить моего общего «непроникновения» в структуры местной жизни.

Впрочем, в конце концов, все это не столь уж и важно для главной темы нашего разговора.

Как бы то ни было, но в тот раз, о котором идет речь, Нью-Йорк отнюдь не стремился разрушить свой привычный образ. К тому же и февральская погода здесь вовсе не походила на цветущей февраль в Северной Каролине – холодный ветер насквозь прометал авеню и стриты, ничто не цвело по причине отсутствия растительности как таковой (Центральный парк не в счет), повсюду бросающаяся в глаза холерическая деятельность нью-йоркцев по-



прежнему рождала вопрос: «К чему все это? В чем смысл именно такой неумной активности, не ведущей в итоге ни к чему продуктивному?»

А через пару дней возник и еще один вопрос: «А что, собственно говоря, мне и дальше делать в этом городе?»

Именно в тот момент, когда эта тема и стала предметом моего внутреннего диалога с самим собой (дело происходило в до удивительности просторной и уютной квартире на Саттон-плейс, призревшей меня) взгляд мой нечаянно упал на телефонный столик и стопку телефонных справочников, лежавших на его внутренней полке. Взяв в руки пухлый том «белых страниц» (то есть справочника квартирных телефонов, в отличие от «желтых страниц» – справочника коммерческих и учрежденческих телефонов и адресов), я пролистывал его без всякой особой цели.

«Интересно, есть ли там телефон Мертона?», – подумал я, первый раз за время нынешнего путешествия в Нью-Йорк вспомнив о предполагавшейся было встрече. На соответствующей странице было обозначено не менее двух десятков самых разных Мертонов, но только один с характерными инициалами «R.K.» – Роберт Кинг.

«А что если взять и позвонить? Прямо как есть? Сейчас?»

Вообще говоря, не в моих традициях поступать таким образом, импровизировать в отношениях с людьми и, что называется, без всякого предисловия навязываться на знакомства.

Я еще полистал справочник, но потом вновь вернулся на «мертоновскую» страницу.

Короче, номер набрался как бы сам собой.

...Было десять утра. Впереди лежало не только хмурое утро, но и обещающий быть хмурым февральский день... После второго или третьего гудка трубку сняли. Ответил спокойный и уверенный мужской голос. Это был Мертон. Тот самый и никакой другой. Немало робея (отчего наружу вылез мой русский акцент, который, хочется думать, не столь очевиден при обычных обстоятельствах), я представился как «советский социолог», работающий в Национальном гуманитарном центре и проездом оказавшийся в Нью-Йорке. Кажется, я так же что-то пролепетал о готовившемся, но не состоявшемся рекомендательном письме Тирикьяна.

«Да», – сказал Мертон тем же спокойным и уверенным голосом.

В разговоре образовалась некоторая пауза. Я продолжил. «Нельзя ли предположить такую возможность, что при определенных обстоятельствах я мог бы надеяться встретить вас там и тогда, где и когда это будет вам удобно», – произнес я эту длинную фразу, которая по-русски звучит коряво и нелепо, но по-английски – в самый раз.

«Да», – ответил Мертон все с той же интонацией. Это навело меня на мысль, что это «да» своего рода форма выражения его внимания, но отнюдь не утверждения чего-либо.

На телефоне с обоих концов вновь повисла пауза. Наконец Мертон сказал все тем же невозмутимым, но вовсе не холодно-равнодушным голосом: «Как насчет шести вечера?» – «Сегодня?» – робко поинтересовался я. «Нет, все же лучше в шесть тридцать», – не отвечая на мой вопрос, уточнил он, и в конце добавил: «Да, разумеется, сегодня. Зачем же откладывать?».

Мертон продиктовал адрес и даже объяснил, как добраться к нему домой на метро, то есть на «сабвее», чтобы быть точным. При этом он уточнил: «Есть две станции "116-ая улица" на двух разных линиях. Вам нужна "116-ая улица" на той линии, что идет вверх Манхэттена вдоль Гудзона, и ни в коем случае не та, что идет через Центральный парк». Обе линии лучами расходятся со станции «59-ая улица».

Мерзкая особенность моей памяти и моего восприятия вообще состоит в том, что я фиксируюсь на первой порции информации, «пережевываю» ее, а вторая, последующая порция при этом как бы проскакивает, не закрепляясь. Ко всему прочему, надо честно признаться, я был так ошарашен моим предстоящим визитом в дом к Мертону, что удивляюсь тому, как я вообще запомнил хоть что-то из его адреса. Это и повлекло за собой, не в первый раз, некоторые следствия...

### **Социологическая Голгофа**

Представляя себя опытным знатоком Нью-Йорка, я прикинул в уме, что со станции «59-ая улица» до Мертона я доберусь минут за сорок пять. В Манхэттене куда угодно можно добраться в среднем за сорок-сорок пять минут. Такое правило я вывел для себя.

Проведя первую часть дня в разного рода чисто нью-йоркских бессодержательных занятиях, я тем не менее мысленно планировал нашу предстоящую встречу, постоянно проигрывая сценарии того, что могло произойти и о чем могла пойти беседа.

...Слегка, но не катастрофически опаздывая, я сел в поезд сабвея и предался размышлениям о приближавшейся встрече с великим социологом XX века. Взгляд мой бесцельно бродил по лицам пассажиров, в большинстве своем возвращавшимся с работы. Картина вагона манхэттенского сабвея ровным счетом ничем не отличалась от соответствующей картины вагона московского метро. Разве что преобладали смуглые и совсем смуглые лица и народу было в вагоне поменьше, чем бывает у нас.

По мере приближения к «116-ой улице» мое раздумчивое оцепенение несколько прошло. На схеме линий сабвея, приклеенной к стенке вагона (точно так же, как и в московском метро), я вновь обнаружил, что существуют две станции «116-ая улица» на двух разных линиях. Притом одна из этих линий отклоняется как бы ближе к Гудзону, другая же «рубит» Манхэттен по вертикали снизу вверх и почти по оси симметрии.

«По какой же линии я еду?» – пронеслась в голове, быть может, первая здравая мысль. Моя темнокожая соседка, не опускаясь до общения со мной и не отвечая на мой вопрос, провела своим длинным пальцем по схеме. Из этого следовало, что, естественно, я стремил свой бег по линии, упорно уводившей меня в сторону от Мертона. Надо было принимать срочное решение, что делать дальше: либо возвращаться до исходной «59-ой улицы» и терять на этом минимум тридцать минут, либо выходить на станции «116-ая улица», где б ни была она, и идти к дому Мертона, пересекая поперек пол-Манхэттена по этой самой 116-ой улице. «Как-никак это должна быть одна и та же улица. Немного ходьбы и все решится,» – предположил я. При последнем варианте я мог бы успеть с минимальным опозданием, хотя бы и теоретически.

Когда через неожиданно пустую станцию я вышел на свет божий, то как раз этого света и не обнаружил.

Вокруг простиралось городское пространство, заполненное сравнительно невысокими четырех-пятиэтажными домами, некогда вполне респектабельными, а ныне весьма в плачевном состоянии. Вся цветовая гамма представляла собой сочетания глухого черного, темно серого и грязно-серого. Уличных огней не было видно.

Это – Гарлем.

...За всеми своими вычислениями, где выйти из сабвея, я упустил одно важное обстоятельство, а именно то, что наверху, на поверхности, город менялся по мере того, как поезд пробирался по своей линии на север Манхэттена...

Раньше много раз я проезжал здесь на машине с плотно задраенными окнами. Но городские кварталы, обозреваемые сквозь стекла автомобиля, и те же кварталы «в натуре», рассматриваемы в пешем порядке, – это весьма несхожие явления. В этом мне и предстояло убедиться на пути к Мертоу.

На тротуарах вдоль домов и на углах улиц стояли группы людей без определенного занятия или цели своей деятельности. Цвет их кожи полностью сливался с общей окраской всего пространства, и потому словно в романе «Человек-невидимка» я видел по преимуществу только одежду этих людей, но никак не их лица.

«Похоже на то, что судьба перед встречей с Мертоном дает мне иллюстрации социологии урбанистского зонирования. Но ведь я иду в гости к Мертоу, а не Роберту Парку», – подбадривал я себя юмористическими мыслями, боязливо обходя группки людей, перегораживавших тротуар и не думавших хотя бы слегка уступать мне дорогу. «Нет, это положительно их другого социологического "романа", из "Общества на перекрестках"

("Street Corner Society") Уильяма Фуга Уайта», – продолжал я свои параллели. – «Правда, у Уайта речь шла о бостонских итальянских кварталах, а здесь...»

Жители Гарлема на расстоянии по большей части не замечали меня. Но стоило мне приблизиться, как в мою сторону бросался один, но весьма выразительный взгляд. Его нельзя было назвать оценивающим, это был наказующий взгляд.

Через десяток минут несколько освоившись и оглядевшись в Гарлеме, я осмелел несказанно и даже задал некоей личности, бесцельно прислонившейся к парапету дома, вопрос, правильно ли я держу направление. Как и в метро, «личность» не удостоила меня устным ответом, а просто махнула рукой в нужном мне направлении, не глядя ни на меня, ни в указываемую сторону. 116-я улица стрелой углублялась в недра Гарлема, сходясь всеми своими прямыми линиями на горизонте. Впрочем, перспектива улицы терялась в февральской вечерней мгле.

Минуты на электронном циферблате моих часов предательски «соскакивали». Я прибавил шаг, и поперечные улицы замелькали с кинематографической быстротой.

Наконец, из темноты появился и обозначился конец 116-ой. Она упиралась в небольшой парк, а за ним высоко к небу вздымалась гранитная гора.

Это был тупик. Моей сообразительности хватило для того, чтобы сообразить: 116-ая разрубалась пополам парком и горой, а дальше она продолжалась, но по «ту сторону».

Ни одного намека на обходной путь, боковую улочку либо тропинку я не мог разглядеть.

На подступах к парку под нависающими кустами бездеятельно сидело несколько десятков человек. За их спинами простирались густые заросли и вздымалась отвесная стена гранитной махины.

В хорошем темпе человека, опаздывающего на первую встречу с классиком социологии, я подошел к первому из них и, едва переводя дыхание, поинтересовался, как найти продолжение 116-ой улицы. «Личность» медленно подняла голову, и впервые за весь вечер в Гарлеме я увидел белый цвет – цвет глазных белков. Ответа между тем не последовало.

Тогда я пошел вдоль всей этой сидящей компании, повторяя как автоответчик одну и ту же фразу: «Ребята, где тут можно через гору перебраться на ту сторону 116-ой?».

Одна «личность» среагировала: «Это не гора, а Утренние Холмы (Morning Heights)».

Начало диалогу было положено. Другая «личность» вяло поднялась на ноги и, отряхнув сор с брюк, и так весьма нечистых, произнесла:

– Пойдем. Покажу, как перебраться на «их» сторону.

– Да нет, не утруждайтесь, – залепетал я. – Вы лучше на словах. Я и так пойму.

– Пойдем, пойдем. Так не найдешь. И мой добровольный гарлемский чичероне, углубился в темень кустов. Не будучи человеком религиозным, я все же в мольбе своей вспомнил мадонну и в полнейшем отчаянии шагнул за проводником.

Меня полностью поглотила могильная темнота. И сырость тоже.

Под ногами шуршала много лет не убиравшаяся листва и столь же многолетний мусор. Чем ближе к скале, то есть «Утренним Холмам», тем гуще становились заросли. Присутствие проводника угадывалось лишь по звуку тяжело опускаемых ног, загребавших листья, и трескучему кашлю, то и дело доносившемуся до меня.

«Все это мало похоже на реальность», – подумалось мне. – «Прямо Тарковский какой-то». Но, увы, это была самая настоящая реальность, реальнее которой не бывает.

– Вот здесь. Все. Дальше я не пойду, – «личность» вплотную приблизилась ко мне.

Я невольно посмотрел себе под ноги и вокруг, ища глазами входа в подземный тоннель или что-то в этом роде.

– Не туда смотришь. Тут лестница наверх имеется. И действительно, прямо от ближайшего куста и скрытая другими деревьями по скале вверх простиралась несколькими свободными пролетами довольно шикарная парковая лестница. На ее пролетных площадках были укреплены изящные фонари со стеклянными колпаками, впрочем, разбитыми и потому

щенившимися стеклянными зубцами-огрызками. Ступеньки были полностью засыпаны пожухлой листвой и только лишь угадывались под ней.

Но хуже всего было другое. Красивая и капитально спроектированная лестница на всех своих пролетах перекрывалась поперек высокими сетками, делавшими любое сквозное движение вверх или вниз совершенно невозможным.

– Не бойся, – «личность» уловила мой немой вопрос. – Там везде лазы есть.

– Лазы?, – не сразу понял я и посмотрел на свои парадные костюм и плащ, еще относительно чистые ботинки и аккуратный атташе-кейс с золочеными замочками.

Проводник ничего не ответил и растворился во мгле. Я двинулся вверх. Однако и в самом деле в первой же сетке, к которой я приблизился, имелся большой разрыв. Без труда вспомнив весь свой богатый московский опыт, я с легкостью преодолел преграду. За ней покорились и все остальные.

Парк внизу все отдалялся, а заветная вершина Утренних Холмов приближалась.

Но это была даже не столько вершина, сколько гребень крепостной стены. Срез холма обрамлялся мощнейшей стеной с зубцами и, если мне не изменяет память, бойницами, обращенными в сторону Гарлема. «Это уже в духе социологии Карла Маркса. Как бы тут порадовался на моем месте корреспондент "Правды" или очеркист из "Коммуниста". Два мира – две системы! – вспомнил я любимые штампы отечественных журналистов. – «Воистину сама жизнь рождает больше символов, чем любая, даже самая изошренная фантазия».

За крепостной стеной начинался другой город и начиналась другая жизнь.

Здесь господствовали яркий свет и эстетическое великолепие. Прекрасные элитарные дома напоминали голливудские декорации. Но без труда можно было обнаружить, что это вовсе не фанерные декорации, а самые настоящие дома и что там большими, почти витринными окнами и пастельного цвета гардинами, подсвеченными изнутри мягко льющимся из глубин квартир светом, живут всамделишные люди. И хотя ни одного из них не было видно, но шикарные лимузины, ни один не хуже «бьюика» «Парк-авеню», еще хранили тепло недавно заглушенных двигателей.

На табличке, прикрепленной к стене углового дома, значилось: «116-ая улица».

Мои часы «выбросили» циферки «6:28».

116-ая улица, ставшая мне после всех мучений почти что родной, «врезалась» в территорию Колумбийского университета и к моему изумлению вынесла меня не куда-нибудь, а прямо на центральную площадь университета с его всемирно известной статуей сидящей «Альма Матер» и зданием библиотеки.

Но архитектурные красоты уже не волновали меня. Быстро пронесаясь по «колумбийке», я по все той же 116-ой пересек Бродвей и, не чая под собой ног, оказался на набережной Гудзона – Ривер-сайд Драйв.

Дом Мертоня отыскался весьма быстро. Как выяснилось позже, в этом и близлежащих домах по преимуществу живут профессора Колумбийского университета. Что-то вроде наших профессорских апартаментов в Центральном здании МГУ и домов на Ломоносовском проспекте.

Консьерж без лишних церемоний пустил меня в лифт. И через минуту я уже нажимал кнопку звонка.

### **За дверью**

Открыл Мертон.

Я никогда не видел фотографий Мертоня, но то, что это был он, не вызывало никаких сомнений. Выше среднего роста, подтянутый человек с исполненной исключительного достоинства осанкой и чисто англо-саксонской внешностью. Судя по справочникам, Мертону вот-вот должно было исполниться восемьдесят лет. Не хочется говорить штампами, но по первому впечатлению он выглядел лет на двадцать моложе. Впрочем, не это главное.

На меня смотрели удивительно внимательные, как бы испытывающие темные глаза. Взгляд Мертона был обращен к вам, и вы его положительно интересовали – и в данную минуту и вообще. Основатель функционализма, делающего акцент на функциональной подоплеке общения и взаимодействия людей, казалось, видел в человеке несравненно больше, чем совокупность функций.

Это была воплощенная любознательность по отношению к человеку, столь редкая, можно сказать, реликтовая в современной Америке.

...В небольшой прихожей, совершенно московской и по своим размерам и по своей обстановке, я взгромоздил свой плащ на завешенную одеждой вешалку. В глубине опять же смотревшейся вполне по-московски квартиры, сквозь открытые двери комнаты была видна молодая женщина, работавшая за компьютером. Она лишь слегка взглянула в мою сторону, не то кивнув, не то просто повернувшись к рукописи, лежавшей на столе. Мертон не представил ее. На всякий случай я вежливо ответил.

Мертон спокойным широким жестом пригласил меня в свой кабинет.

Это была маленькая комната, метров 14, достаточно аккуратная, но вполне рабочего вида.

Усадив меня в гостевое кресло, направо от двери, Мертон сел в свое стоявшее у письменного стола рабочее кресло, слегка развернув его в мою сторону.

На столе красовался последней серии компьютер «Макинтош». Его непревзойденный яркости жемчужно-белый экран светился набранным текстом. В ходе нашей беседы Мертон время от времени поглаживал клавиатуру, как бы убеждаясь на ощупь, что «Макинтош» жив и здоров. Так «Макинтош» и стал третьим немым участником разговора.

Не успел Мертон сесть, как вновь поднялся. «Вы любите виски?», – спросил он несколько неожиданно. Виски я не люблю, да и после пробежки по Гарлему и восхождения на Утренние Холмы меня как-то не очень тянуло к алкоголю. От усталости и возбуждения могло слегка ударить в голову даже от одного глотка. А так хотелось выглядеть молодцом в глазах классика!

Я отказался. Мертон между тем налил и себе и мне. И свою рюмочку не без жизнелюбивого удовольствия позднее выпил.

– Ну расскажите, чем вы у нас занимаетесь. Вы ведь из Москвы? – начал он беседу вежливым вопросом.

Я попытался было уйти от обсуждения моей персоны, ибо это казалось мне не очень скромным, но Мертон вернул меня к начатой теме. Пришлось рассказать и о Национальном гуманитарном центре, и об открытии в Московском университете социологического факультета, к которому я как бы имею служебное отношение. Тут Мертон вспомнил свое путешествие в Советский Союз и встречи с нашими тогдашними академиками и социологическими супер-боссами Федосеевым и Румянцевым. (Позднее Мертон дал мне репринт своей статьи-отчета о той своей поездке. Читая ее, я поражался с каждой страницей, как совершенно «зарубежный» нашим реалиям американский социолог за какие-нибудь десять дней прекрасно разобрался в том, кто есть кто и что есть что в советской социологии того времени.)

Все эти свои воспоминания о давнишнем путешествии и вопросы обо мне Мертон нацеливал удивительно точно, сам говорил мало и словно «извлекал» из собеседника лаконичную и «заостренную» информацию.

– И все же, что вы сами делаете в социологии? – настаивал Мертон. Готовясь к нашей встрече и планируя ее издалека, я испытывал некоторое неудобство от того, что обладаю не социологическим, а философским образованием и что мои основные публикации скорее относятся к истории социальной философии, а не социологии. Мне представлялось, что такой классик, как Мертон, узнав об этом, слегка поморщится и потеряет ко мне остатки своего интереса. Немного подумав, я честно и признался ему в своих сомнениях и в своей социологической неполноценности. На это Мертон спокойно и внимательно глядя на меня сказал:

– Вы не правы. Никогда не стремитесь ограничивать область социологии. Она – гостеприимная дисциплина. В сущности, каждый специалист может стать социологом, если его интересует то, как область знания или умения «преломляется» с социальной ситуации.

Весьма ободренный и даже воодушевленный этим замечанием, я принялся извлекать из чемоданчика свои книжки и передавать их Мертону. Он внимательно и аккуратно разглядывал их. Посетовал, что не знает русского языка. «Хотя моя дочь вроде бы читает по-русски. Она переведет мне оглавления ваших книг». Углубился в изучение библиографий. (Как я тут пожалел, что несколько небрежно подходил к этой части своих работ, не обновляя их перед подписанием рукописи к печати.) Пообещал прочитать мою книжку о Торо, к счастью, изданную и на английском.

– Ну а чем вы занимаетесь сейчас? – прозвучал еще один настойчивый вопрос Мертона.

Уже вполне осмелевший, я принялся излагать ему структуру и концепцию своей докторской диссертации по проблемам социальной философии и социологии одиночества. Мертон явно оживился. Не прерывая, он еще более внимательно «прожигал» меня своими темными глазами. Подняв указательный палец руки, спокойно лежавший на подлокотнике кресла, Мертон обозначил паузу в моем монологе.

– Так ваша работа об одиночестве или отчуждении?

– Именно об одиночестве, – вполне определенно заявил я.

– Прекрасно. Прекрасно, – как бы с облегчением сказал он.

– Я вообще не понимаю, как можно говорить о социологии отчуждения. Что это такое? Никак не возьму в толк. И если бы вы писали об отчуждении, то это была бы очередная, сто первая и никому не нужная работа на эту тему. Вот одиночество – это реальный, осязаемый предмет.

Как я возрадовался в тот момент, что и в самом деле ушел в свое время от концепции отчуждения, хотя и не был столь же однозначно уверен в ее бессмысленности подобно Мертону.

Мертон принялся диктовать мне на память книги и статьи, а также имена социологов, с которыми мне, по его мнению, следовало бы в первую очередь познакомиться. Все это я аккуратно записывал в блокноте, разложенном на коленях.

Тема, связанная с одиночеством, плавно перешла в другую. Я поинтересовался, кто был изображен на добрых двух десятках окантованных фотографий, висевших на стене напротив Мертона.

Первым Мертон указал на Питирима Сорокина. Потом последовали имена Парсонса, Редклифф-Брауна, Лазарсфельда и других классиков социологии и истории науки, с каждым из которых Мертона связывали особо дружеские отношения. Здесь, винюсь, мне изменила элементарная сообразительность. Вместо того, чтобы тут же записать этот рассказ Мертона, я, как дурак, кивал головой и судорожно вспоминал, что я знаю о каждом из друзей Мертона, дабы не сказануть что-нибудь невпопад. Как бы сейчас пригодились эти записи! Но их нет. И остается лишь надеяться, что, быть может, когда-нибудь мне еще удастся побывать в этом кабинете...

Окончив свой обзор фотографий на стене, Мертон повел разговор об иных вещах. А именно о двух огромных программах, инициатором которых он был. О Центре поведенческих наук в Пало-Альто в Калифорнии и Фонде Рассела Сейджа в Нью-Йорке.

Обе эти научные организации на конкурсной основе принимают обществоведов на срок до одного года и предоставляют им все условия для завершения той или иной научной программы или рукописи. Тут же Мертон поинтересовался, есть ли сейчас в Союзе интересные социологи. Я ответил, что, наверное, есть. «А вы можете дать список их имен и очень краткие характеристики, мол чем занимаются, чем известны?» С этим для меня было сложнее. Но я пообещал сделать этот список. (И позднее, действительно, не без труда набрал десяток имен и переслал их Мертону.)

Как сейчас понимаю, просьба Мертона, немного странная на первый взгляд, заключала в себе определенный смысл. Когда постепенно скопится несколько таких списков, то будет легче-легкого сравнить их и выделить имена тех, кто называется лучшим бóльшим числом независимых респондентов. И тогда «авторитетные» мнения нашей Академии наук, Института социологии и университетов, по большей части весьма командно-бюрократические, наложатся на реальное мнение профессионального сообщества российских социологов. А американцы в общем и целом интересуются действительным положением дел. И в социологии тоже.

...Уже более часа мы беседовали с Мертоном. Логика требовала от меня проявления вежливости. Пора было собираться обратно.

Мертон подошел к книжной полке и совершенно неожиданно для меня стал снимать с нее один объемистый том за другим. На каждом из них он сделал трогательную надпись. Так я стал обладателем авторских экземпляров «Social Theory and Social Structure» (1969), «The Sociology of Science» (1973), «On the Shoulders of Giants» (1985) и целой пачки оттисков статей Мертона.

...А еще через пять минут я уже шел по Бродвею. Шел без всякой цели, «разбирая» в голове впечатления последнего часа. Стало по-вечернему темно, но на этом отрезке единственной диагональной улицы Нью-Йорка, граничащим с Колумбийским университетом, было светло, чисто и «книжно». Книжные магазины попадались на каждом углу и в каждом квартале. Почти автоматически я открыл дверь одного из них и без всякой идеи зашел внутрь. Побродив среди стеллажей, я набрел на социологический раздел. На одной из полок на меня смотрели корешки тех же томов, что лежали в моем чемоданчике. Это тоже был Роберт Кинг Мертон. Но отделенный от меня стеной своего научного величия и своей классичности.

Тот же Мертон, который жил по соседству, был иным – самым умным из известных мне американцев, тонким психологом и искренне сердечным человеком (редкий дар в Америке!). И потому, быть может, что-то мешает мне, как тогда, так и теперь, считать Мертона чисто американским социологом и американцем вообще. Он измеряется иными человеческими категориями.

### **Post Scriptum: Книги, Которые Еще Читают**

Мой разговор с Мертоном был недолгим. Но есть события, значимость коих не определяется их хронологической продолжительностью. Встреча в феврале в доме на Утренних Холмах положила начало серии других встреч с Мертоном, переписке, одновременно носящей и дружеский, и теоретический, и практический характер. Именно тот характер, которым обладает сам Мертон. (Ко всему прочему Мертон один из самых аккуратных и творческих корреспондентов в частной переписке, коих мне приходилось встречать в своей жизни. На полученные письма он отвечает немедленно и с трогательной «проработкой» всех тем и вопросов, содержащихся в твоём письме.)

Еще в США, а теперь и в Москве стала складываться моя библиотека Mertoniana. Со временем она пополнилась присланными мне Мертоном копиями писем к нему Толкотта Парсонса, посвященными наследию Сорокина, целым рядом других историко-социологических документов, которые недвижно лежали в глубинах архива Мертона. Надо думать, настанет время, когда они будут опубликованы на русском языке.

По счастливому стечению обстоятельств по приезде в Москву я сразу же начал читать курс функционализма для студентов социологического факультета. «Священные» фолианты Мертона вскоре перекочевали к моим студентам, и потому сейчас не стоит удивляться, что эти книги с дарственными посвящениями автора несколько подъистрепались. Но это, хочется думать, самый благородный вид старения книг – Книг, Которые Еще Читают.

Чтение, если это настоящее чтение, не может быть пассивным. Так на свет появились уже частично реализованные нашими студентами проекты переводов, реферативных сборников и новых русских публикаций произведений Роберта Мертона.

Что ж, можно лишь надеяться на то, что, наконец, идеи этого выдающегося мыслителя, оставив в неприкосновенности мое поколение времен «стагнации», быть может, окажут свое влияние на новое поколение наших социологов эпохи «постперестройки».

*Нью-Йорк, Чепел-Хилл (Сев.Каролина), Москва, 1990-1991*